

---

#### ОТ РЕДАКЦИИ

*Это последняя статья Вадима Валериановича Кожина, над которой он работал для одного из научных сборников, готовящихся к печати Институтом мировой литературы. В этой статье он в сжатом виде излагал отдельные положения, развернутые ранее в работе “И назовет меня всяк сущий в ней язык...” (1981) и в книге “Россия. Век XX” (1996–1999). Как бы повторяя ранее сказанное, но ставя уже сформулированные положения в особый контекст, Кожин отвечает на самый главный вопрос, обозначенный в заголовке, – и его ответ способен пригодиться не только рядовому читателю, но и людям, представляющим нынешнюю и грядущую власть в России.*

*Статья была опубликована и прокомментирована Е. В. Ермиловой и А. Ю. Большаковой лишь в нынешнем году в коллективном сборнике “Россия и Запад в начале нового тысячелетия” (М., “Наука”, 2007).*

*С разрешения вдовы поэта Е. В. Ермиловой мы перепечатываем ее в нашей постоянной рубрике “Мир Кожина”.*

#### ВАДИМ КОЖИНОВ

## О РУССКОМ САМОСОЗНАНИИ: В КАКОЙ СТРАНЕ МЫ ЖИВЕМ?

Жизнь складывается из многих сторон и аспектов, поэтому и ответы на поставленный в заглавии вопрос могут быть существенно разными. Вполне уместно, как представляется, начать следующим образом: мы живем в стране с тысячелетней культурой, где сегодня идет борьба между “патриотами” и “либералами”, – ибо, характеризуя в самом широком, самом общем плане разногласия и противостояния в среде современных политических деятелей и идеологов, их обычно делят именно на “патриотов” и “либералов”; под последними подразумевают тех, кто стремится перестроить Россию по образу и подобию Запада.

Между тем деление это, несмотря на всю его распространенность и вроде бы неоспоримую очевидность, только запутывает и затемняет общественное сознание. Пред нами, к прискорбию, застарелая российская беда: ведь более полутора столетия назад в сознание людей было внедрено столь же поверхностное деление на славянофилов и западников. И для понимания смысла нынешнего противопоставления “либералов” и “патриотов” уместно и даже необходимо взглянуть в те, уже давние времена.

В июне 1880 г. Достоевский с полной определенностью сказал в своей “Пушкинской речи”: “О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение...”. Для настоящего русского, произгласил Федор Михайлович, Европа и ее удел “так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли...”. И позже пояснил: “...стремление

наше в Европу, даже со всеми увлечениями и крайностями его, было не только законно и разумно в *основании своем*, но и народно, совпадало вполне с стремлениями самого духа народного...” [20, с. 536, 516].

Достоевский говорил об осуществлении этого стремления в эпоху Петра I. Но осуществлялось оно, конечно, и раньше: и при Иване III, и еще при Ярославе Мудром, выдавшем своих дочерей за королей Франции и Дании, и при внуке Ярослава – Владимире Мономахе, обвенчавшемся с дочерью короля Англии, что вряд ли было бы возможно без достаточно развитых отношений Руси с Западом.

Как известно, многие, считавшие себя западниками, слушатели речи Достоевского восприняли ее – по крайней мере, поначалу – с полным одобрением и даже восторженно [52, с. 236]. И в написанном вскоре “Объяснительном слове” к своей “Речи” Достоевский призвал их к совместной деятельности [20, с. 519]. Ясно, что он отнюдь не отлучал от патриотизма этих, по его признанию, “очень многих просвещеннейших... деятелей и вполне русских людей”, способных прояснить, несмотря на свои западнические увлечения, “самостоятельность и личность русского духа, законность его бытия” [20, с. 522]. Для Достоевского была неприемлема лишь, как он выразился в том же “Объяснительном слове”, “масса-то вашего западничества, середина-то, улица-то, по которой влачится идея – *все эти смерды направления*”, только и мечтающие всю Россию “пересоздать и переделать, – если уж ...нельзя органически, то по крайней мере механически” заставить ее “усвоить себе гражданское устройство точь-в-точь как в европейских землях” [20, с. 522, 520].

Забегая вперед, скажу: именно эту цель ставят перед собой и нынешние “прогрессисты-реформаторы” России – восприимчивые позднейших последователей западничества, совершивших Февральский переворот 1917 г. и образовавших Временное правительство. Но об этом позже, а пока обратимся к суждению Достоевского о том, что настоящему русскому человеку Европа и ее удел так же дороги, как Россия. Позволю себе заметить, что в полемическом запале Федор Михайлович несколько перегнул палку. Наверное, точнее было бы сказать: не “так же дороги”, а “то же дороги”. Поскольку речь идет о людях России, естественно полагать, что “удел своей родной земли” волнует или должен их волновать все же больше, чем удел других земель, – и необязательно в силу национального эгоизма, а потому что собственная судьба в той или иной мере зависит от нас самих.

Эта сторона проблемы, связанная с проявлением в русской общественной жизни феноменов западничества и славянофильства как устремленности к определенной цели и отнюдь не в последнюю очередь идеалу нравственно-эстетическому, чрезвычайно существенна. А между тем мало кто о ней задумывается. Западники, для которых Европа – своего рода эталон, – люди, как писал Достоевский, по меньшей мере, среднего уровня – “середина”, “улица”, причем, добавлю от себя, “улица” в наши дни весьма агрессивная<sup>1</sup>.

Кто такой последовательный западник? Казалось бы, человек, преодолевший свою русскость как нечто второсортное и, таким образом, сравнившийся с людьми Запада. Однако абсолютно ясно, что последние никак не могут быть западниками в терминологическом значении слова – то есть людьми, прямо-таки жаждущими искоренить свое, родное и усвоить чужой образ мысли и жизни! Чтобы сравняться, к примеру, с западноевропейцами, наш западник должен стать не западноевропейцем вообще, а англичанином, французом, немцем... Короче говоря, это тип именно русского человека – и русское выступает в нем даже резче, чем в соотечественниках, которые попросту живут в своем мире, оставаясь самими собой. Резче –

<sup>1</sup> Сегодня эта “улица” особенно настойчиво внедряет миф о достижении “земного рая” посредством рынка и технического “прогресса”. Существует масса людей, всецело проникнутых иллюзорным убеждением, будто бы благодаря лишь рынку и техническому прогрессу если не они, то по крайней мере их дети обретут подлинное удовлетворение и счастье. Особенно опасны идеологи, фанатично уверенные, что *только они знают*, как достичь этой цели; у которых на первый план выходит даже не задача совершенствования существующего общественного устройства, а его радикальной переделки – вплоть до полной ликвидации.

ибо в западниках очевиден некий надлом, истерично изживаемый ими “комплекс национальной неполноценности”. Вот достаточно приметное в этом отношении сочинение “Государство и эволюция”, принадлежащее перу недавнего “главного реформатора” России – Е. Т. Гайдара. Признавая, что большинство стран с рыночной экономикой гораздо беднее нас, живет хуже нас, автор, тем не менее, всю ответственность за нынешний “развал” российской экономики возлагает на “ошибочно” выбранный путь развития. С негодованием пишет он, что “в центре” бытия России “всегда был громадный магнит бюрократического государства. Именно оно определило траекторию российской истории...” Даже “радикальнейшая в истории человечества революция<sup>1</sup> не поколебала “медного всадника” русской истории”.

Все эти выводы, понятно, продиктованы сопоставлением России со странами Запада, где государство играло намного более “скромную” роль. Гайдар, впрочем, и не скрывает, что его оценка российской истории как “искаженной” истории Запада целиком основана на приводимых им сопоставлениях. “Государство страшно исказило новейшую историю...”. Вся задача, мол, состоит в том, “чтобы сместить главный вектор истории” [14].

Согласимся, столь решительный подход к делу заведомо сомнительный (“сместить главный вектор”!), а использование созданной пушкинским гением поэмы “Медный всадник”, исполненной глубочайшим и богатейшим смыслом, предстает как легковесная претензия<sup>2</sup>.

Увы, авторы подобных сочинений то ли не способны высвободиться из плена якобы отвергаемых ими “марксистских догм”, то ли просто не в состоянии понять, что благосостояние той или иной страны зависит не столько от типа государства, его политического устройства, сколько от исторически сложившихся идеалов, культуры производства, неравномерного распределения природных ресурсов, их перекачки из развивающихся стран в развитые и многих других факторов, как раз и *определяющих* “главный вектор” развития. Исходя из того, что мы должны жить, как высокоразвитые страны – то есть как живет всего лишь 15 населения Земли, так называемый “золотой миллиард”, они как-то ухитряются не замечать, что русский человек никогда не будет так неистово<sup>3</sup> и монотонно – изо дня в день, в течение всей жизни – работать, как работают на Западе, – и не в силу “врожденной русской лени”, а из-за *другого отношения к материальным благам, другого расклада в его иерархии материальных и духовных ценностей*. Немцы и японцы и на заре своей истории работали все-таки прилежней нас. Это факт: на Западе живут так, как там работают. И нам, чтобы жить как немцы или японцы, надо попросту перевоплотиться в них, и природе их к себе перенести, и климат, и геополитическое положение, и религию, и традиции... Каждому понятно, что такая постановка вопроса совершенно абсурдна, недостойна здравомыслящего человека.

Нет сомнения, государство в истории России имело исключительное значение. Но у Гайдара и его единомышленников выпячивается, как правило, лишь одна сторона российского бытия, совершенно непонятная без учета иных аспектов. Вспомним хотя бы о том, сколько русских людей на протяжении столетий уходило с контролируемой государством территории – на юг, север, восток, в результате чего и образовались, в частности, *вольное казачество*<sup>4</sup> и не подчиняющееся ни светской, ни церковной власти *старообрядчество* (само пространство России в значительной мере было создано именно этими народными вольницами). Вспомним и о том, что мятежное пламя из окраинных “очагов вольности” многократно поджигало и центральную Россию (болотниковщина, великий Раскол, разинщина, булавинщина, пугачевщина...) <sup>5</sup> и что определенное “равновесие”

<sup>1</sup> Имеется в виду Октябрьская революция 1917 г.

<sup>2</sup> Если вдуматься, сама постановка вопроса об ошибочности исторического пути великой страны столь же “научна”, как объявление ошибочной истории человечества в целом и далее – истории всей Вселенной.

<sup>3</sup> Речь, конечно, не о надрывных “авралах” и “штурмах”, привычных для русских.

<sup>4</sup> Само русское слово “казак” образовалось от тюркского *kazak*, означающего “вольный человек”.

<sup>5</sup> Великий Раскол – отделение в XVIII в. от официальной русской православной церкви значительной части верующих – старообрядцев, сопровождавшееся массовыми народными выступлениями против официальной церкви и царских властей. Старообрядцы преследовались за свои религиозные убеждения до 1906 г. (прим. публ.).

народа и государства установилось лишь к XIX веку<sup>1</sup>. И если уж и ставить в связи с этим вопрос о своеобразии России в сравнении с Западом, то наиболее кратко и просто ответить на него можно так: чрезвычайная власть ее государства всецело соответствовала чрезмерной волеизъявлению ее народа (кстати, именно такой смысл и воплощен в образах пушкинского “Медного всадника”).

“Не свобода, а воля”, – говорит Федор Протасов [48, с. 107], имея в виду истинную и высшую для русского человека ценность бытия и как бы подтверждая своим высказыванием распространенное мнение, согласно которому западная и русская литературы различаются прежде всего тем, что первая открыла и со всей силой утвердила человеческую личность, а вторая с небывалой мощностью воплотила стихию народа; что в первой идея свободы индивида выступает как центральная и в известном смысле самоцельная, а во второй – явно отступает на задний план. В этом, несомненно, есть своя правда. Но все же дело обстоит сложнее. Личность ценна прежде всего богатством содержания, духовной высотой, имеющими всечеловеческое значение. Точно так же и в народе первостепенное значение и ценность имеют не его неповторимые черты (хотя без них он немислим), но всеобщий, имеющий ценность для всех народов смысл бытия.

В русской литературе, а значит, и истории (ибо литература есть своего рода плод истории) воля личности обращена к всемирному, вселенскому бытию, и “ближайшие” внешние ограничения, способные уничтожить свободу индивида, для этой воли оказываются только помехами, трудностями, препятствиями – пусть и тяжкими, но не могущими ее раздавить. “Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? – смеется над французскими солдатами Пьер Безухов. – Меня? Меня – мою бесмертную душу!..”

Высоко в светлом небе стоял полный месяц. Леса и поля, невидные прежде вне расположения лагеря, открывались теперь вдали. И еще дальше этих лесов и полей виднелась светлая, колеблющаяся, зовущая в себя бесконечная даль. Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. “И все это мое, и все это во мне, и все это я! – думал Пьер. – И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!” Он улыбнулся и пошел укладываться спать” [47, с. 115].

Приведенный отрывок из “Войны и мира” подтверждает: самая полная свобода индивида ничего не дает воле личности, устремленной к бытию и смыслу, лежащими за пределами этой свободы. Но нельзя не признать, что эта выраженная Л. Толстым и другими нашими классиками устремленность, берущая начало в недрах народного мироощущения, имеет и обратную сторону.

В западноевропейских странах даже самая высокая степень свободы в любой сфере деятельности (политической, экономической и т. д.) не может привести к роковым последствиям: большинство населения ни под каким видом не выйдет за установленные пределы, будет всегда “играть по правилам”. Между тем в России безусловная, ничем не ограниченная свобода сознания и поведения – то есть, в сущности, уже не свобода, подразумевающая определенные границы, рамки закона, а собственно российская воля – вырывалась на простор чуть ли не при каждом значительном ослаблении власти: от болотниковщины до махновщины. Можно, конечно, понять настроенность тех людей, которых смущают и даже ужасают присутствующие России крайне резкие и приводящие к поистине катастрофическим последствиям “повороты”. Однако призывы и попытки “сместить главный вектор”, игнорирующие особенности национального самосознания, не более основательны, чем, допустим, проекты изменения ее континентального климата, дабы он стал подобен атлантическому климату стран Запада.

Поэтому последовательное западничество, в конечном счете, представляет собой один из видов русского экстремизма.

То же самое, в принципе, следует сказать и о славянофилах, всячески идеализирующих Россию. Как известно, ортодоксальное славянофильство,

---

<sup>1</sup> Здесь следует подчеркнуть: не только благодаря действиям власти: сами повстанцы, в конце концов, осознавали гибельность противоборства народа и государства, что выразилось, например, в добровольной выдаче властям Разина и Пугачева их ближайшими сподвижниками.

опираясь на единство происхождения славянских народов, ратовало за развитие самобытной славянской культуры и цивилизации, создание самостоятельного славянского мира во главе с русским народом. Оно не видело или не желало видеть, что существеннейший геополитический водораздел проходит вовсе не между Чехией и Германией и, тем более, не между Хорватией и Италией, а по западной границе России, и когда перед славянскими народами того географического и духовного пространства, которое мы и называем собственно Европой, открывалась перспектива “свободного” выбора между Россией и Западом, те, как правило (отдельные исключения его не отменяют), стремились – и до сих пор стремятся – интегрироваться с Западом<sup>1</sup>.

Но главное – в другом. Народы Западной Европы в совместном, неразрывно связанном историческом движении уже в XIX веке осуществили свою грандиозную культурно-цивилизационную миссию. Всецело опираясь на самого себя, Запад действительно явил торжество деяния и мышления; его история действительно есть история подлинно героического освоения мира. И если наше западничество и предполагало такое же всемирное значение русской культуры, то лишь в присоединении к этому – уже свершившемуся! – творческому подвигу. Славянофилы же самой идеей создания единой славянской цивилизации, в чьем лоне русские должны выступить как часть (пусть и значительнейшая) целого, тоже, по сути дела, добавляли к двум величайшим европейским цивилизациям – романской и германской – еще одну, которую, как ни крути, подобно западникам, мерили той же мерой, что и две первые. При этом, с точки зрения и западников, и славянофилов, в сущности, оказывались ненужными, “бессмысленными” целые столетия в истории русской культуры: для западников – эпоха с конца XV в. (ранее, дескать, к Западу мешало обратиться монгольское иго) до начала петровских реформ; для славянофилов – последующее время.

Словом, в том и другом случае смысл и цель русской культурно-цивилизационной миссии воссоздавались как бы по западноевропейской модели, по предложенной Западом программе. Но если таковая и применима к собственно европейским странам, то для России она не годится, – хотя бы потому, что Россия всегда была страной многоэтнической, включающей в себя, наряду со славянскими, и финно-угорские, и тюркские, и другие народы, что, естественно, обращает нас к онтологической проблеме “своих – чужих” и вытекающим из нее вопросам взаимодействия и взаимовлияния различных культур и цивилизаций. И здесь мне особо хотелось бы подчеркнуть глобальное значение открытого Бахтиным диалогического характера человеческого бытия, введенного ученым разграничения малого (ближайшего) и большого времени [4, с. 504], трактуемого как бесконечный и незавершенный диалог [5, с. 351].

Правильная расстановка акцентов в осмыслении этого диалога – актуальнейшая задача и наших дней. В принципе, нет кардинального различия между империей Батые и его потомков, в вассальной зависимости от которой в XIII–XV веках находилась Русь, и, скажем, империей Карла Великого. Однако в глазах Европы империя “азиатов” представляла как нечто совершенно иное – “чудовищное” и, более того, “позорное” – ведь дело шло об “азиатах”. И надо прямо признать, такое восприятие “азиатов”, перенесенное на Российскую империю<sup>2</sup>, начиная с XVIII века, заразило национальное сознание как русского, так и других народов, входящих в поле его притяжения. Об этом, в частности, свидетельствует запись Достоевского в “Дневнике писателя” за январь 1881 года: “Надо прогнать лакейскую божья, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более, чем европейцы”... Яркая иллюстрация из многонациональной литературы не столь отдаленного советского прошлого – одна

<sup>1</sup> Вероятно, тут стоит сообщить: когда в конце 1980-х гг. в интервью журналистам Чехословакии и Польши я не без остроты поставил вопрос о том, что их страны как бы всегда стояли перед альтернативой “быть ли передним крыльцом России или задним двором Запада”, беседовавшие со мной журналисты признали, что, в конечном счете, их страны склонны выбрать второе.

<sup>2</sup> См., к примеру, работу А. И. Герцена “О развитии революционных идей в России”, где автор говорит следующее: “На взгляд Европы, Россия была страной азиатской...” [16, с. 399].

из сюжетных линий романа киргизского писателя Чингиза Айтматова “И дольше века длится день”, где пришедшие из глубин Азии жуань-жуаны изображены поистине как нелюди, которых можно и нужно уничтожать начисто, хотя в предисловии и декларируется “доброе” отношение ко всем народам мира. Автор как бы забывает, что речь в романе ведет именно о народе, о племени, а не об армии. И тот факт, что история нашествия жуань-жуанов дана им в притчеобразной, мифологизированной форме, только усиливает остроту обобщения [1].

Но стихия русской литературы в подлинных, основополагающих своих проявлениях (Пушкин, Лермонтов, Л. Толстой...) – все-таки стихия проникновенного диалога, мощного и глубокого пафоса равенства и братства с народами и Запада, и Востока. Диалога и пафоса, опровергающего знаменитые строки Киплинга:

*Запад есть Запад, Восток есть Восток –  
И с места они не сойдут...*

В русской литературе и Запад, и Восток одарены способностью сойти со своего “места” и братски протянуть друг другу руки. В этом смысле, повторяю, важно даже не бахтинское открытие диалогичности творчества Достоевского и других художников, а то, что сама по себе созданная Бахтиным эстетика есть эстетика диалога<sup>1</sup>, отличная от основанной на “монологической диалектике” (по бахтинскому определению) эстетики Гегеля [3, с. 364], ставшей фундаментом всей западноевропейской эстетики. В этом смысле западная литература, в отличие от русской, являет собой монолог, не подразумевающий во “внешнем” мире другого равноценного субъекта, от которого ждут необходимого ответа, признания, суда, что, конечно, нельзя рассматривать как отрицательное качество. Перед нами, если угодно, подлинно героический монолог. Вся трудность, в конце концов, заключается не в том, чтобы понять различие русской и западноевропейской эстетики, а в том, чтобы объективно подойти к каждой из них, не отрицая одну ради другой. Когда западные ценители утверждали, что русская литература недостаточно “искусна”, недостаточно “художественна” или, как писал Троцкий, представляет собой “лишь поверхностное подражание более высоким западным образцам” [49, с. 354], они попросту мерили ее меркой западной – “изобразительной” в своей основе – эстетики. К счастью, эта односторонность давно преодолена. В статье Вирджинии Вулф “Русская точка зрения” (1925 г.), в частности, так говорится о своеобразии русского искусства слова:

“Метод, которому, как кажется нам сначала, свойственна небрежность, незавершенность, интерес к пустячкам, теперь представляется результатом изощренно-самобытного и утонченного вкуса, безошибочно организующего и контролируемого честностью, равной которой мы не найдем ни у кого, кроме самих же русских... В результате, когда мы читаем эти рассказы ни о чем, горизонт расширяется, и душа обретает удивительное чувство свободы...”

Именно душа – одно из главных действующих лиц русской литературы... Она остается основным предметом внимания. Быть может, именно поэтому от англичанина и требуется такое большое усилие... Душа чужда ему. Даже антипатична. Она бесформенна... Она смутна, расплывчата, возбуждена, не способна, кажется, подчиниться контролю логики или дисциплине поэзии<sup>2</sup>... Против нашей воли мы втянуты, заверчены, задушены, ослеплены – и в то же время исполнены головокружительного восторга”.

Разумеется, слово “душа” не может служить термином литературной науки. Но все же Вирджиния Вулф говорит о необычайно важном. Вот еще один ход ее мысли:

“Общество разделено на низшие, средние и высшие классы, каждый со своими традициями, своими манерами и в какой-то степени со своим

<sup>1</sup> По Бахтину, поскольку сознание есть всегда, по меньшей мере, два сознания, корректней говорить не “наука о духе”, а “науки о духах (двух по меньшей мере)”.

<sup>2</sup> То есть русское искусство слова не соответствует западному понятию о поэзии как форме искусства.

языком. Существует постоянное давление, заставляющее английского романиста, независимо от желания, замечать эти барьеры, и – как следствие – ему навязывается порядок и определенная форма... Подобные ограничения не связывали Достоевского. Ему все равно – из благородных вы или простых, бродяга или великосветская дама. Кто бы вы ни были, вы сосуд этой непонятной жидкости, этого мутного, пенистого, драгоценного вещества – души. Для души нет преград. Она перехлестывает через край, разливается, смешивается с другими душами” [12, с. 285, 287].

Естественно, возникает вопрос: что же, в России, в отличие от Англии, не было классов и сословий, сословно-классовых противоречий? Конечно же, были. И их наличие нередко выражалось даже в более тяжких и жесточких формах. Но в то же время в России – в силу общего своеобразия ее бытия – таких неодолимых барьеров, жесткого сословно-классового “порядка”, такой завершенной социальной “оформленности” не было. Поэтому Вирджиния Вулф отнюдь не случайно увидела в “душе” “основной предмет” русской литературы, менее освоенный литературами Запада. Главное, пожалуй, открытие английской писательницы выразилось в том месте ее статьи, где она говорит уже не о героях русской литературы, а о читателях, точнее, о читателях романа Достоевского “Идиот”:

“Мы открываем дверь и попадаем в комнату, полную русских генералов, их домашних учителей, их падчериц и кузин и массы разношерстных людей, говорящих в полный голос о своих самых задушевных делах. Но где мы? Разумеется, это обязанность романиста<sup>1</sup> сообщить нам, находимся ли мы в гостинице, на квартире или в меблированных комнатах. Никто и не думает объяснить. Мы – души, истязаемые, несчастные души, которые заняты лишь тем, чтобы говорить, раскрываться, исповедоваться...” [12, с. 286].

В этом и состоит, очевидно, одно из величайших проявлений всечеловечности русской литературы: она не только ставит перед миром живые человеческие души вместо “опредмеченных” обликов людей, но делает тем самым всецело явными и живые души тех, кто ее, русскую литературу, воспринимает. Она говорит не столько о людях (что гораздо сильнее и совершеннее делала литература Запада), сколько с людьми – будь это ее герои или читатели...

Но вернемся к словам Достоевского о необходимости сотрудничества двух направлений – западного и славянофильского. Еще раз повторю: эта сторона проблемы весьма существенна для понимания смысла нынешнего противопоставления “либералов” и “патриотов”.

В январе 1847 г. один из двух наиболее выдающихся “западников”, Герцен, впервые приехал в Европу, и уже в конце года в России были опубликованы его размышления о жизни Запада – во многом резко критические. Они вызвали недоумение или даже прямое возмущение у всех друзей Герцена, кроме одного Белинского. И в 1848 г. Герцен написал этим друзьям: “...вам хочется Францию и Европу в противоположность России, так, как христианам хотелось рая – в противоположность земле. – Я удивляюсь всем нашим туристам<sup>2</sup>, Огареву, Сатину, Боткину, как они могли так много не видеть... Уважение к личности, гражданское обеспечение, свобода мысли – все, что не существует и не существовало во Франции или существовало на словах” [17, с. 365] и т. д.

Разумеется, и Герцен, и Белинский крайне критически относились ко многому в жизни России, но они – и в этом выразился их духовный уровень – осознавали, что и на Западе, как и в России, есть не только свое добро, но и свое зло, своя истина и своя ложь, своя красота и свое безобразие, – то есть, по сути, преодолели в себе свое западничество.

Точно так же обстоит дело и с наиболее выдающимися людьми, причисляемыми к славянофилам. Помимо прочего, Иван Киреевский или Тютчев гораздо лучше знали и гораздо глубже понимали истинные ценности Запада, чем большинство западников, и потому есть основания утверждать, что они *ценили* Европу выше, чем западники!

В свете всего сказанного естественно сделать вывод, что деление на западников и славянофилов уместно лишь по отношению к второстепенным

<sup>1</sup> С точки зрения западноевропейской эстетики.

<sup>2</sup> То есть западникам, которые побывали в Европе раньше Герцена.

идеологам XIX в. Что же касается идеологов, чье наследие сохраняет самую высокую ценность и сегодня, то зачисление их в эти “рубрики” только затрудняет – или вообще делает невозможным понимание их духовного творчества.

К действительным западникам и славянофилам следует причислить тех идеологов и деятелей, которые исходили не из истинного понимания Европы и России, а из субъективистских догм, согласно которым в качестве своего рода эталонов представляли либо Запад, либо Русь – именно Русь, поскольку послепетровская Россия, гораздо теснее связанная с Европой, во многом отвергалась догматическими славянофилами.

Но следует знать, что такой идеолог высшего уровня, как Иван Киреевский, писал о закономерности и “неотменимости” реформ Петра I, возводя их истоки еще к середине XVI в. И утверждал, говоря о “форме” допетровского быта страны: “Возвращать ее насильственно было бы смешно, когда бы не было вредно” [25, с. 126]. А в одном из последних сочинений высказался еще резче, отметив, что если бы ему пришлось хоть “увидеть во сне, что какая-либо из внешних особенностей нашей прежней жизни... вдруг воскресла посреди нас и... вмешалась в настоящую жизнь нашу, то это видение <...> испугало бы меня” [26, с. 238].

Истинный путь России Киреевский видел в развитии присущих ей “высших начал” духовности, которые, по его словам, должны господствовать над “просвещением европейским” (ведь Россия все же – не Европа!), однако не вытесняя его – европейское просвещение – “но, напротив, обнимая его своею полнотою” [26, с. 238].

Догматические же славянофилы стремились именно “вытеснить” из России все подобное Западу, а западники – превратить страну в подобие Европы, что означало, понятно, “вытеснение” основ бытия России. Но и то, и другое – только догмы, которые не были плодами понимания исторической реальности, а потому и не могли осуществиться.

Вместо того чтобы вдумываться в духовное творчество идеологов высшего уровня – творчество того же Киреевского или Герцена, которые не столько противостояли, сколько дополняли друг друга, – людям как бы предлагалось “выбирать” одно из двух: либо западничество, либо славянофильство. В результате из наследия и Киреевского, и Герцена усваивалось только то, что соответствовало двум противостоявшим догмам.

И преобладающее большинство российской интеллигенции, являвшей собой постоянно возраставшую идеологическую и политическую силу, соблазнилось западной догмой. Она казалась более реалистической, ибо речь шла о преобразовании России в соответствии с действительно существовавшим в Европе общественным строем, тогда как славянофильская догма во многом апеллировала к уже несуществующей “исконной” Руси. Кроме того, западничество выдвигало на первый план идею (или, вернее, миф) прогресса, которая, начиная с XVII–XVIII вв. (ранее считалось, в общем, “золотой век” – позади), стала приобретать все более вдохновляющий характер для все более широкого круга людей. Тогда как “славянофильство” воспринималось как выражение консерватизма или даже реакционности<sup>1</sup>, имеющих негативный смысл в сознании большинства людей.

К началу XX в. преобладающая часть идеологически и политически активных людей во всех слоях населения России снизу доверху полагала, что существующий строй должен быть кардинально изменен. Двухсотлетняя послепетровская империя, действительно, изжила себя, хотя это, разумеется, сложнейший и требующий развернутого исследования вопрос. Поэтому, за неимением места, ограничусь замечаниями общего порядка.

Либеральная (революционная) и, позднее, советская пропаганда вбила в головы людей представление, будто бы Россия в конце XIX – начале XX вв. переживала застой и чуть ли не упадок, из которого ее, мол, и вырвала революция. И мало кто задумывался над тем, что великие революции совершаются не от слабости, а от силы, не от недостаточности, а от

---

<sup>1</sup> Разумеется, такие “славянофилы”, как И. Киреевский, Чаадаев, Достоевский, Тютчев, и многие другие выдающиеся мыслители и деятели русской культуры вовсе не отгораживались от Европы и, как я неоднократно писал в своих работах, никакими “реакционерами” (в негативном значении этого слова) не были.



избытка. Английская революция 1640-х гг. разразилась вскоре после того, как страна стала “ладычицей морей”, закрепилась в мире от Индии до Америки; этой революции непосредственно предшествовало славнейшее время Шекспира (как в России – время Достоевского и Толстого). Франция к концу XVIII в. была общепризнанным центром всей европейской цивилизации, а победоносное шествие наполеоновской армии ясно свидетельствовало о тогдашней исключительной мощи страны. И в том, и в другом случае перед нами – пик, апогей истории этих стран – и именно он породил революции.

И абсурдно думать, что в России дело обстоит противоположным образом. Если вспомнить хотя бы несколько самых различных, но, без сомнения, подлинно “изобильных” воплощений русского бытия 1890–1910 гг. – Транссибирскую магистраль, свободное хождение золотых монет, столыпинское освоение целины<sup>1</sup> на востоке, всемирный триумф Художественного театра, титаническую деятельность Менделеева, тысячи превосходных зданий в пышном стиле русского модерна, празднование трехсотлетия Дома Романовых, первенство в книгоиздании, расцвет русской живописи в творчестве Нестерова, Врубеля, Кустодиева и других – станет ясно, что говорить о каком-либо “упадке” просто нелепо.

Революции устраивают не нищие и голодные: они борются за выживание, у них нет ни сил, ни средств, ни времени готовить революции. Правда, они способны на отчаянные бунты, которые в условиях уже подготовленной другими силами революции могут сыграть огромную разрушительную роль, но именно и только – в уже созданной критической ситуации<sup>2</sup>.

Ныне многие авторы склонны всячески идеализировать положение крестьянства до 1917-го или, точнее, 1914 г. Ссылаются, в частности, на то, что Россия тогда “кормила Европу”. Однако Европу кормили вовсе не крестьяне, а крупные и технически оснащенные хозяйства сумевших приспособиться к новым условиям помещиков и разбогатевших выходцев из крестьян, использующие массу наемных работников. Когда же после 1917 г. эти хозяйства были уничтожены, оказалось, что хлеба на продажу (и не только для внешнего, но и внутреннего рынка) – *товарного* хлеба в России весьма немного (вопрос этот исследовал виднейший экономист В. Немчинов<sup>3</sup>, выводы которого и послужили для Сталина главным и решающим доводом в пользу немедленного создания колхозов и совхозов). Крестьяне же – и до 1917 г. и после него – сами потребляли основное количество выращиваемого ими хлеба, притом многим из них до нового урожая его не хватало.

Все это вроде бы противоречит сказанному о бурном росте России. Какой же рост, если крестьяне – преобладающее большинство населения – в массе своей бедны? Но, во-первых, и в жизни крестьянства в начале века были несомненные сдвиги (есть серьезные основания полагать, что, в конечном счете, всестороннее развитие России подняло бы уровень жизни крестьян). А во-вторых, самое мощное развитие не могло за краткий срок преобразовать бытие огромного и разбросанного по стране сословия. И, поскольку средние урожаи хлебов оставались весьма низкими, крестьян легко было поднять на бунты, “подкреплявшие” революционные акции в столицах. Для главных революционных сил – предпринимателей, интеллигенции и квалифицированных рабочих – бедность большинства крестьян (а также определенной массы деклассированных элементов – “босяков”, воспетых Горьким) являлась необходимым и безотказно действующим аргументом в борьбе против строя.

Тогдашние либералы и “прогрессисты”, стараясь не замечать очевидно, на все голоса кричали о том, что-де Россия, в сравнении с Западом, пустыня и царство тьмы, “царство несвободы”. Правда, некоторые из них потом опомнились. Так, блестящий публицист и историк культуры Г. П. Федотов в послереволюционном сочинении открыто каялся: “Мы не хотели поклониться России – царице, венчанной короной <...>. Вместе с Владими-

<sup>1</sup> Имеется в виду столыпинская аграрная реформа (прим. публ.).

<sup>2</sup> Так, множество крестьянских бунтов происходило в России и в XIX в., но они не вели ни к каким существенным последствиям.

<sup>3</sup> Немчинов Василий Сергеевич (1894–1964) – экономист и статистик. Основные труды по статистике, методологии изучения производительности труда, разработке моделей планового хозяйства (прим. публ.).

ром Печериним проклинали мы Россию, с Марксом ненавидели ее. <...> Еще недавно мы верили, что Россия страшно бедна культурой, какое-то дикое, девственное поле. Нужно было, чтобы Толстой и Достоевский сделались учителями человечества, чтобы ...пилигримы потянулись с Запада изучать русскую красоту, быт, древность, музыку, и лишь тогда мы огляделись вокруг нас. И что же? Россия – не нищая, а насыщенная тысячелетней культурой страна – предстала взорам <...> не обещание, а зрелый плод. Попробуйте ее осмыслить – и насколько беднее станет без нее культурное человечество <...>. Мир, может быть, не в состоянии жить без России. Ее спасение есть дело всемирной культуры” [56, с. 133–136].

Федотов высказал даже понимание того, что русская культура выросла не на пустом месте: “Плоть России есть та хозяйственно-политическая ткань, вне которой нет бытия народного, нет и русской культуры. Плоть России есть государство русское <...>. Мы помогли разбить его своей ненавистью или равнодушием. Тяжко будет искупление этой вины” [56, с. 136].

Казалось бы, следует порадоваться этому прозрению Федотова. Но уж очень чувствуется, что он прямо-таки наслаждался своей покаянной медитацией: смотрите, мол, какой я хороший – помог разбить русское государство, а теперь, поняв, наконец, что оно значило, готов искупить свою вину. Впрочем, даже и в определении этой вины присутствует явная ложь: бывший член РСДРП, оказывается, всего лишь помогал разбить русское государство “своей ненавистью или равнодушием” – то есть неким своим внутренним состоянием. Однако это еще не самое главное. Федотов заявляет здесь же: “Мы знаем, мы помним. Она была, Великая Россия. И она будет.

Но народ, в ужасных и непонятных ему страданиях, потерял память о России – о самом себе. Сейчас она живет в нас. В нас должно совершиться рождение будущей великой России. Мы требовали от России самоотречения... И Россия мертва. Искупая грех... мы должны отбросить брезгливость к телу, к материально-государственному процессу. Мы будем заново строить это тело” [56, с. 136].

Итак, вырисовывается, по меньшей мере, удивительная картина: эти самые “мы” только после умерщвления с их “помощью” России и не без подсказок с Запада “огляделись вокруг” – и их взорам впервые предстала великая страна. Но далее выясняется, что только эти “мы” и способны воскресить Россию.

Настоящим “философом свободы” был, как известно, Бердяев, и если Федотов постоянно кричал об отсутствии или фатальном дефиците свободы в России [55, с. 19], то Бердяев накануне революции, в 1916 г., писал: “В русском народе поистине есть свобода духа, которая дается лишь тому, кто не слишком поглощен жадной земной прибылью и земного благоустройства”. И далее: “Россия – страна бытовой свободы, неведомой... народам Запада... Только в России нет давящей власти буржуазных условностей... Русский человек с большой легкостью духа... уходит от всякого быта... Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник – самый свободный человек на земле. <...> Россия – страна бесконечной свободы и духовных далей, страна странников, скитальцев и искателей” [6, с. 19, 21].

Таков был вердикт виднейшего “философа свободы”; Федотов же постоянно твердил, что свобода наличествует только на Западе, и России прямо-таки необходимо импортировать ее оттуда – чего бы это ни стоило [55, с. 99–100].

Справедливости ради отметим, что не все приведенные суждения Бердяева вполне точны. Когда он говорит, что характерный для России тип странника “так прекрасен”, это можно понять в духе утверждения заведомого превосходства России над Западом, где, мол, царит над всем “жажда прибыли”. У Запада есть своя безусловная красота, и речь должна идти не о том, что русское “странничество” прекраснее всего, а только о том, что и в России тоже есть своя красота и своя свобода! Но, в конечном счете, Бердяев говорит именно об этом, видя в России свободу духа и быта, а не свободу в сфере политики и экономики. Те же, кто в тот исторический период требовал объединить в России и то, и другое, по сути дела, впадали в “методологию” гоголевской невесты Агафьи Тихоновны, которая мечтала: “Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да

взять сколько-нибудь развязанности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича...” [18, с. 253]. И еще: внимательные читатели Бердяева могут напомнить мне, что в сочинении 1916 г. Бердяев утверждал: “Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю... Никакая история философии... не разгадала еще, почему самый безгосударственный народ создал такую огромную и могущественную государственность... почему свободный духом народ как будто бы не хочет свободной жизни?” [6, с. 14]. Вполне возможно, что в отвлеченных философских категориях разгадать это противоречие нелегко, но если перейти на обычный язык жизни, оно не столь уж загадочно. На этом языке на свой вопрос достаточно убедительно ответил сам Бердяев: русские люди не поглощены “земным благоустройством”, они по натуре странники, и если бы не было могучей государственности, эта “странническая” Россия давно бы *растворилась и исчезла*.

Ныне многие цитируют пушкинские слова: “Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный” [36, с. 524–525]. Причем одни усматривают в нем проявление беспрецедентной свободы, извечно присущей (хотя не всегда очевидной) России, другие, напротив, – выражение ее “рабской” природы [38]: “бессмысленность” бунта свойственна, мол, заведомым рабам, которые, в отличие от западноевропейских бунтарей и мятежников, даже в восстании не способны добиться удовлетворения конкретных практических интересов и бунтуют, в сущности, ради самого бунта...

Но подобные одноцветные оценки национально-исторических явлений вообще не заслуживают внимания, ибо характеризуют лишь тех, кто эти оценки высказывает, а не сам оцениваемый “предмет”. События, так или иначе захватывающие народ в целом, с необходимостью несут в себе и зло, и добро, и ложь, и истину, и грех, и святость... Необходимо отдавать себе ясный отчет в том, что безоговорочные проклятья и такие же восхваления “русского бунта” – шире, революции – связаны с примитивным и просто ложным восприятием своеобразия как России, так и Запада. В первом случае Россию воспринимают как нечто безусловно “худшее” в сравнении с Западом, во втором – как столь же безусловно “лучшее”. Но и то, и другое восприятие не имеет действительно серьезного смысла. Споры, что лучше – Россия или Запад? – сродни спорам: где лучше жить – в лесной или степной местности? или: кем лучше быть – женщиной или мужчиной?

С другой стороны, необходимо осознать заведомую недостаточность и даже прямую ложность классового и вообще чисто политического истолкования феномена революции. Революция – слишком грандиозное и многомерное явление бытия, которое не втиснуть в классовые и вообще собственно политические рамки. В подлинном значении слова, революция не может не быть воплощением “варварства” и “дикости”, то есть, выражаясь не столь эмоционально, не может не быть отрицанием, отменой всех выработанных веками правильных и нравственных устоев и норм человеческого бытия [24]. Именно таков едва ли не главный вывод фундаментального сочинения о Великой французской революции, созданного еще в 1837 г. крупнейшим английским мыслителем Томасом Карлейлем, который в свои юные годы непосредственно наблюдал ее последний период.

Правда, стремление к тотальной ликвидации всего складывающегося веками национального уклада проявилось в России острее, чем во Франции. И этому есть свое объяснение. Из энциклопедии “Гражданская война и военная интервенция в СССР” можно узнать, что к 1917 году на территории России находилось около 5 млн. (!) иностранных граждан, сотни тысяч из которых приняли самое активное участие в революции [64]. Вполне ясно, что этим людям были чужды или просто невняты самобытные основы русской жизни, и мало кто из них мог понять, “на что он руку поднимал...”. Со мною, вероятно, будут спорить, но я все же твердо стою на том, что любое участие иностранцев в коренных решениях судеб страны само по себе – явление безнравственное.

С другой стороны, в Россию в 1917-м вернулась масса эмигрировавших в 1905–1907 гг. людей, в той или иной степени уже оторванных и отчужденных от покинутой ими в юности страны, судьбу которой они теперь взялись решать. Об этом недвусмысленно писал Герберт Уэллс: “Когда произошла катастрофа в России... из Америки и Западной Европы вернулось много

эмигрантов, энергичных, полных энтузиазма... утративших в более предприимчивом западном мире привычную русскую непрактичность и научившихся доводить дело до конца<sup>1</sup>. У них был одинаковый образ мыслей, одни и те же смелые идеи, их вдохновляло видение революции, которая принесет человечеству справедливость и счастье. Эти молодые люди и составляют движущую силу большевизма. Многие из них – евреи; большинство эмигрировавших из России в Америку были еврейского происхождения, но очень мало кто из них настроен националистически. Они борются не за интересы еврейства, а за новый мир” [53, с. 43]. Уэллс писал об этом “новом мире” с явным одобрением, однако позднее его соотечественник, Олдос Хаксли, в романе “Прекрасный новый мир”, пародирующем – о чем откровенно сказал сам автор – уэллсовские представления, показал этот “новый мир” совершенно в ином свете [58].

Говоря обо всем этом, нельзя обойти еще одну сторону дела. Есть люди, которые любые суждения о роли евреев в революции и вообще о евреях квалифицируют как “антисемитские”<sup>2</sup>. Но это либо бесчувственные (не говоря уже об их явном безмыслии), либо просто бесчестные люди (ведь, если принять их точку зрения, получается, что и Уэллс – “антисемит”). И, предвидя их реакцию, процитирую разумные и честные слова, опубликованные в издающемся на русском языке в Израиле журнале “Двадцать два”, из статьи М. Хейфица “Наши общие уроки”: “На строчках из поэзии Э. Багрицкого Ст. Куняев убедительно доказал: еврейское участие в большевизме, действительно, являлось формой национального движения. Уродливой, ошибочной, в конечном счете, преступной... Поэтому я, например, ощущаю свою историческую ответственность за Троцкого, Багрицкого или Блюмкина... Я полагаю, что мы, евреи, должны извлечь честные выводы из еврейской игры на “чужой свадьбе”...” [59, с. 162].

Очевидно, здесь выражено совершенно иное представление о существе дела, чем в рассуждениях Г. Уэллса (стоит, впрочем, учесть, что Уэллс писал свою брошюру давно, в 1920 г., и к тому же был недостаточно информирован). И нет сомнения, что громадная роль и иностранцев и евреев в русской революции еще ждет тщательного и основательного изучения.

Впрочем, уже мало кто оспаривает, что в 1917–1922 гг. в России существовал своего рода единый “инородный” стержень, пронизывающий власть (в самом широком смысле этого слова) сверху донизу – от членов ЦК партии Ленина до командиров пулеметных отделений. Я решусь даже утверждать, что без этого “компонента” большевики не сумели бы победить, прочно утвердить свою власть.

Скорей всего, мое утверждение вызовет у многих так называемых “патриотов” недоумение и даже гнев: что ж, выходит, судьба России не могла быть решена без иностранного участия? Неужели русские сами, без “чужаков” не могли преодолеть охватившую страну всеобщую смуту и междоусобие? Но обращение к мировой истории убеждает, что в подобных ситуациях роль “чужаков” закономерна и даже необходима.

Так, разразившаяся в 1640-х гг. английская революция надолго ввергла страну в хаос и тяжкие кровавые конфликты. Порядок восстановился лишь после того, как голландский принц Вильгельм был приглашен основными политическими силами на трон. Придя со своим – *иностраным* – войском, Вильгельм правил Британией почти полтора десятилетия до своей кончины. Идеология Французской революции 1789 года во многом сложилась под – опять же – “иностранным” воздействием (мировоззрение ее вдохновителя – родоначальника французских просветителей Вольтера сформировалось, в частности, во время его трехлетней эмиграции с 1726 по 1729 гг. в Англии). Великая Французская революция погрузила страну в состояние войны всех против всех; даже ближайшие единомышленники предалися настоящему самопожиранию. И Бонапарт, установивший во

<sup>1</sup> Курсив мой.

<sup>2</sup> Образчик такой дурно пахнущей логики – опус М. Золотоносова “Мастер и Маргарита” как путеводитель по субкультуре русского антисемитизма (СРА)”, в котором русский поэт еврейского происхождения Осип Мандельштам заклеямен как... “антисемит” [22]. Впрочем, задолго до М. Золотоносова, по существу, в том же самом обвинил поэта некто С. Розенталь, заявивший 10 августа 1933 г. на страницах “Правды”, что “от образов Мандельштама пахнет... великодержавным шовинизмом”.

Франции прочную власть, был, в сущности, тоже *иностранцем*. Его безостановочная стремительная карьера началась после того, как 5 октября 1795 года в самом центре Парижа он обрушил артиллерийские залпы в толпу людей, которая, по весьма сомнительным данным, имела намерение свергнуть революционную власть. Напомню, что Достоевский вложил в уста своего рассуждающего о “вседозволенности” Раскольникова следующую фразу об этом событии: “Прав, прав “пророк”, когда ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую батарею и дует в правого и виноватого, не удаивая даже и объясниться” [19, с. 286]. И естественно предположить, что если бы Наполеоне Буонапарте был французом, а не корсиканцем, возможно, он попытался бы “объясниться”, выявить в парижской толпе “правого и виноватого”.

Разумеется, все перечисленные выше исторические ситуации имели глубокое своеобразие и существенно различные последствия. Но единая закономерность все же просматривается. Острое и как бы неразрешимое столкновение тех или иных сил внутри страны, внутри нации – сил, каждая из которых отрицает право остальных на власть, – неизбежно выдвигает на первый план чужеродные силы и идеи, приводит к приглашению каких-либо “варягов”.

В определенном отношении обилие евреев в тогдашней российской власти следует рассматривать с этой самой точки зрения. В западных областях России, где евреи жили издавна и составляли значительную или вообще преобладающую часть городского населения, их едва ли воспринимали как иностранцев. Очень характерно, например, что в Новороссии<sup>1</sup> они принимали самое активное участие в, казалось бы, чисто крестьянском движении махновцев (известно около десятка евреев, игравших в стане Махно руководящие роли), а в близкой по своему духу к махновщине тамбовской антоновщине присутствие евреев едва ли можно обнаружить – и неслучайно. На большей части огромного российского пространства они действовали (вспомним процитированное выше признание М. Хейфица) и потому воспринимались русскими людьми в той или иной степени – как “чужаки”.

В этом, между прочим, нерв содержания романа Александра Фадеева “Разгром”. На первой же странице романа есть емкий эпитет “нездешние<sup>2</sup> глаза Левинсона”. Эти глаза “надоели” ординарцу командира – шахтеру Морозке: “Жулик, – подумал ординарец, обидчиво хлопая веками, и тут же привычно обобщил: – Все жида жулики”<sup>3</sup> [54, с. 3].

Итак, с одной стороны, – “романтически” окрашенные “нездешние глаза”, а с другой – “жулик-жид”. Автор “Разгрома” ни в коей мере не был склонен к неприязни к евреям, и в словах “привычно<sup>4</sup> обобщил” ясно выражено, что дело идет о предрассудке непросвещенного сознания. Однако вскоре, в сцене встречи с местными крестьянами, Левинсон предстает, в сущности, как “жулик”: он потребовал “принять резолюцию”, согласно которой бойцы отряда должны будут “помогать” крестьянам в хозяйстве: “Левинсон сказал это так убедительно, будто сам верил, что хоть кто-нибудь станет помогать хозяевам.

– Да мы того не требуем! – крикнул кто-то из мужиков. Левинсон подумал: “Клюнуло”...” [54, с. 32].

Так же обстоит дело и в отношениях с самим левинсоновским отрядом: “Всем своим видом Левинсон как бы показывал людям, что он прекрасно понимает, отчего все происходит и куда ведет... и он, Левинсон, давно уже имеет точный, безошибочный план спасения” [54, с. 32]. И в другом месте о том же Морозке сказано: “...он старался убедить себя, что Левинсон величайший жулик... Тем не менее он тоже был уверен, что командир “все видит насквозь”...” (между прочим, “противоречие” между этими двумя убеждениями Морозки, в сущности, весьма относительное). Но все это,

<sup>1</sup> Новороссия – исторически сложившаяся во второй половине XVIII – начале XX в. область на юге России и Украины. Занимала территорию северно-причерноморских степей (*прим. публ.*).

<sup>2</sup> Курсив мой.

<sup>3</sup> Фраза “Все жида жулики” присутствует только в изданиях “Разгрома” 1928 и 1935 гг. Во всех остальных переизданиях она вычеркивалась цензурой (*прим. публ.*).

<sup>4</sup> Курсив мой.

в конечном счете, основывалось на первой же “характеристике” Левинсона – на его “нездешних глазах”, и сам Левинсон, как выясняется далее, “знал, что о нем думают именно как о человеке “особой породы”...” [54, с. 52].

В “Разгроме” достаточно много персонажей, но совершенно очевидно: ни один из них не мог бы стать таким общепризнанным (несмотря даже на критическое отношение, на обвинения типа “жулик” и т. п.) командиром, как Левинсон: “Левинсон был выбран командиром... каждому казалось, что самой отличительной его чертой является именно то, что он командует” [54, с. 34]; его “все знали ... как Левинсона<sup>1</sup>, как человека, всегда идущего во главе” [54, с. 108].

Я здесь никак не оцениваю это воссозданное писателем, кстати, самым активным образом участвовавшим в революции, – положение вещей. Речь лишь о том, что главенство “нездешнего” человека, которое на первый взгляд может быть воспринято как некое неправильное, несообразное явление, в действительности предстает – разумеется, в тогдашних условиях всеобщей смуты и безвластия – вполне возможным<sup>2</sup>.

Увы, подавляющее большинство людей, стремящихся понять события 1917-го и последующих годов, рассуждают в рамках по-прежнему господствующей в нашей стране политизированной системы мышления. Им кажется, они отбросили эту систему прочь – дерзают же они “отрицать” революцию и социализм, в самой “решительной” форме задавать вопрос, оправдана ли хоть в какой-то степени та страшная цена, которой оплачивался переход к новому строю, и т. д. Но все это, как говорится, “мелко плавает”. Великую – пусть и чудовищную в своем величии – революцию невозможно понять в русле сугубо политического мышления. Ответ надо искать в самых глубинах человеческого бытия. С этим, по всей вероятности, согласился бы даже такой политик до мозга костей, как Ленин. Ведь именно он писал, что “революцию следует сравнивать с актом родов”, превращающим “женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный, полумертвый кусок мяса. <...> Трудные акты родов увеличивают опасность смертельной болезни или смертельного исхода во много раз” [29, с. 476–477].

Здесь дано не собственно политическое, а бытийственное сравнение. История неопровержимо свидетельствует, что смертельно опасными были переходы и к рабовладельческому строю, и от рабовладельчества – к феодализму, а от феодализма – к капитализму... И только те, кто не читал ничего, кроме пропагандистских книжек, воображают, будто это представление о смене общественных формаций – некая “марксистская идея”.

Вера в возможность создания “земного рая” возникла, пожалуй, не позднее веры в загробный рай. По сути, именно она и есть стержень и основа революционного сознания, способного оправдать любые насилия и вообще любые жертвы. Во времена Великой Французской революции виднейший ее деятель – Марат – требовал выдать на расправу революционному народу “20 тысяч голов”, дабы обеспечить свободу и счастье оставшимся в живых французам (на самом деле во имя “земного рая” пришлось уничтожить четыре млн. человек) [24]. Его последователь – один из партийных вождей большевистской революции – Г. Е. Зиновьев в 1918 году предложил более “высокую” цену [13] – десять млн. человек (жертв, естественно, оказалось почти в два с половиной раза больше). Всех перещегоолял Мао Цзэдун, заявивший о готовности положить в борьбе с “проклятым империализмом” триста млн. своих соплеменников – дескать, ничего страшного не произойдет, даже если в живых останется и треть китайцев [34]. Вот истинная суть сознания революции. Но абсолютно несостоятельны те идеологи, которые приписывают это сознание исключительно России и пытаются представить революционную трагедию как нечто позорное и чуть ли не унижающее нашу страну. Во-первых, революция – мировой феномен. Она может случиться в любой стране,

<sup>1</sup> Курсив Фадеева.

<sup>2</sup> Думается, именно эти выводы ученого, а не факт его участия как автора послесловия в сборнике поэтов-евреев, живущих в России, США и Израиле, “Свет двудеятый” (М., 1996) вызвали гневные, хотя и запоздалые нападки некоторых так называемых “патриотов” – в частности, стихослагателя В. Сорокина, обвинившего Кожина – уже после его смерти! – в “еврейской пронизательной практичности”, в том, что он “пишет, как ест в благородной еврейской кухне”. См.: Сорокин В. Путь в одиночество. “Московский литератор”, 2003, № 1 (прим. публ.).

ибо рождение нового, как и отмирание старого, для человеческого бытия – всегда неизбежность – и неизбежность нередко предельно трагическая, если в обществе есть достаточно большие, сорганизованные группы людей, страстно стремящихся заменить существующий строй новым. А во-вторых, и с религиозной, и с философской точки зрения, трагедия отнюдь не принадлежит к сфере низменного и постыдного. Более того, трагедия есть свидетельство избранности.

Словом, можно скорбеть о России, которую постигла революция, но только низменный взгляд видит в этом унижение своего Отечества.

Сейчас многие говорят: а стоило ли вообще затевать революцию? Но вопрос этот, прошу прощения, совершенно детский. Более важным, более насущным сегодня представляется другое: как и ради чего совершались революции, или, скажем более обобщенно, коренные перевороты 1917-го и последующих годов; ибо без глубокого осмысления прошлого не понять настоящего и, следовательно, того, в каком направлении мы можем и должны двигаться, чтобы страна обрела достойное будущее.

Основные политические партии, действовавшие на политической арене 1917 г. – кадеты и примыкавшие к ним “прогрессисты”, эсеры, меньшевики и большевики, – были (несмотря на все их различия), по сути дела, западническими. Правда, кадеты и “прогрессисты” брали за образец Запад как таковой, употребляя традиционное определение “буржуазный”, эсеры и меньшевики – западную “социал-демократию”, а большевики, и это парадоксально, возлагали надежды на *будущий* Запад, в котором-де окрепнут и победят радикально-марксистские партии.

Но пойдем по порядку. Решающую роль в Февральском перевороте сыграли именно кадеты и примыкающие к ним “прогрессисты”, образовавшие первое новое правительство. В обстоятельном исследовании Н. Г. Думовой “Кадетская партия в период Первой мировой войны и Февральской революции” показано, что эта партия “рассчитывала осуществить свою идею “вестернизации” России” (то есть превращения ее в подобие Запада), но что даже западные историки признают ныне непригодность этой программы для развития России. “В русских условиях, – цитирует Н. Думова американского историка Т. фон Лауэ, – западный образец неприменим”. К тому же выводу пришел и английский историк Э. Карр: “Капитализм западного типа... не мог развиваться на русской почве. Тем самым политика Ленина явилась единственно приемлемой для России...” [21, с. 134].

Последнее суждение, хотя оно принадлежит действительно серьезному английскому историку, все же неточно. Во-первых, кадетское правительство было отрешено от власти уже в начале июля 1917 г. – и вовсе не партией Ленина, а эсерами и меньшевиками во главе с Керенским. (Большевики к тому времени еще не играли существенной роли в политике; так, возглавленная ими 4 июля антиправительственная демонстрация была быстро разогнана, а сам Ленин вынужден был надолго уйти в подполье).

Причина указанной неточности историка в том, что антисоветская и равно советская историография, искажая реальность, приписывали весь ход событий после Февральского переворота воле большевиков. Антисоветские историки стремились тем самым обвинить большевиков в срыве “плодотворного развития России”, якобы начавшегося с приходом к власти кадетов, а советские – преувеличить роль партии Ленина (ради этого утверждалось даже, будто большевики играли существеннейшую роль уже и в феврале, то есть в свержении монархии, хотя на самом деле их роль тогда была совершенно незначительной).

Во-вторых, нет оснований считать, что политика Ленина явилась “*приемлемой для России*”. В течение пяти лет – до утверждения нэпа (новой экономической политики), которая, по определению самого Ленина, была “*отступлением*” от предшествующей большевистской политики [30, с. 158], продолжались мощные бунты и восстания; правда, они начинались еще при власти Керенского и к октябрю 1917 г. охватывали, как точно подсчитано, более 90% российских уездов, а к тому же солдаты Временного правительства нередко отказывались их подавлять [23, с. 119].

Переделка России по образцам западной демократии была заведомо утопическим предприятием, и к октябрю власть Керенского потеряла всякую

силу, в результате чего страна погрузилась в хаос – на фоне продолжения военных действий против Германии.

Захватив власть, большевики стали создавать такой диктаторский режим, в сравнении с которым предшествующее самодержавие было поистине либеральной (в изначальном смысле этого термина) властью. Но в пору революции *любая* власть не может не быть жестокой, даже предельно жестокой. И стремление пойти на смерть ради защиты одной жестокой власти от другой в какой-то момент становится сомнительным делом, что столь ярко воплощено, например, в метаниях шолоховского Григория Мелехова.

Нельзя не сказать и о том, что сегодня едва ли не господствует стремление преподнести подавление народных восстаний большевистской властью как расправу всемогущих палачей над беспомощными и ни в чем не повинными жертвами. Плохо не только то, что подобная картина не соответствует действительности – хуже и гораздо хуже другое: при подобном истолковании, в сущности, принижается и обесмысливается вся история России эпохи революции. Ибо коллизия “палачи и жертвы”, конечно, крайне прискорбная, но отнюдь *не трагическая*. Подлинная трагедия (как в истории, так и в искусстве) есть смертельное противоборство таких сил, каждая из которых по-своему *виновна* и по-своему *права*. Нетрудно предвидеть, что это утверждение, в связи с распространенным мнением, согласно которому сама идея социализма-коммунизма, исповедуемая большевиками, была “пересажена” с Запада и полностью чужда России (и, значит, ни о какой “правоте” большевистской власти не может быть и речи), вызовет у многих людей негодующий протест. Однако все обстоит сложнее. Идея социализма-коммунизма и определенные опыты практического ее осуществления характерны для всей истории человечества, начиная с древнейших цивилизаций Европы, Азии, Африки и Америки (еще до открытия последней европейцами)<sup>1</sup>. И едва ли есть основания утверждать, что мысль, лежащая в основе социализма-коммунизма, вообще была чужда России. Многие виднейшие русские идеологи, начиная с середины XIX в., так или иначе предрекали, что Россия пойдет именно по социалистическому пути, хотя подчас вовсе не считали его благодатным. Так, основоположник новой русской философии Чаадаев, которого, кстати сказать, совершенно необоснованно зачисляют в западники, уже незадолго до своей кончины, в 1852 году, ставил вопрос: “Что можно противупоставить грозному шествию идеи века, каким бы именем ее ни назвали: социализм, демагогия?”. И отвечал: “Странное дело! В конце концов признали справедливым возмущение против привилегий рождения; хотя происхождение – в конце концов – закон природы... между тем все еще находят несправедливым возмущение против наглых притязаний капитала, в тысячу раз более стеснительных и грубых, нежели когда-либо были притязания происхождения” [61, с. 260, 262]. И многозначительно чаадаевское предвидение: “Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его противники” [60, с. 213].

Герцен, ставя вопрос о взаимоотношении своего “лагеря” со славянофильством, недвусмысленно писал в 1850 г.: “...Социализм, который так решительно, так глубоко разделяет Европу на два враждебных лагеря, – разве не признан он славянофилами так же, как нами? Это мост, на котором мы можем подать друг другу руку” [16, с. 497]. “Мост” вообще-то был шатким.

Ясно, что социализм-коммунизм, ставший реальностью России после 1917 г., несовместим ни с идеалами Белинского – Герцена, ни с учением славянофилов, ни, тем более, с заветами Сергея Радонежского, о которых писал продолжатель “славянофильства” Павел Флоренский: “Идея общежития как совместного жития в полной любви, единомыслии и экономическом единстве – назовется ли она по-гречески *киновией* или по латыни *коммунизмом*, – всегда столь близкая русской душе и сияющая в ней как вожденнейшая заповедь жизни, была водружена и воплощена в Троице-Сергиевой лавре преподобным Сергием и распространялась отсюда, от Дома Троицы...”<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Это убедительно, с опорой на многочисленные и многообразные исторические факты, показано в труде Игоря Шафаревича “Социализм как явление мировой истории” [62].

<sup>2</sup> Цитируется по: [42, с. 381].



Русская мысль не только предвидела, что впереди социализм, но и сумела с поражающей верностью угадать его реальную суть и характер. Вглядываясь в грядущее, Константин Леонтьев утверждал в 1880 г., что “тот слишком подвижный строй”, к которому привел “эгалитарный и эмансипационный прогресс XIX века, должен привести или к всеобщей катастрофе”, или же к обществу, основанному “на совершенно новых и вовсе уже не либеральных, а напротив того, крайне стеснительных и принудительных началах. Быть может, явится рабство своего рода, рабство в новой форме, вероятно, в виде жесточайшего подчинения лиц мелким и крупным общинам, а общин – государству” [32, с. 179–180]. Стоит отметить, что один из крупнейших представителей западноевропейской историософии XX в., Арнольд Тойнби, через 90 лет после Леонтьева пришел к тому же выводу<sup>1</sup>.

И, надо прямо сказать, в 1917 г. Россия в точном смысле слова *выбрала* (всецело свободно выбрала) социализм: почти 85% голосов на выборах в Учредительное собрание получили партии, выступавшие *против* частной собственности на основные “средства производства”, прежде всего на землю – то есть социалистические партии [43, с. 62, 416–425]. Мне, конечно, возразят, что у власти оказались не социалистические партии вообще, а совершившие насильственный переворот большевики. Но совершенно ясно, если бы большевики и левые эсеры не решились или не смогли бы 5 (18) января 1918 г. разогнать Учредительное собрание, то преобладавшие в нем правые эсеры, обретя власть над Россией, вынуждены были бы отказаться от декларируемого ими демократизма.

После разрушения веками существовавшего государства народ явно не хотел признавать *никакой* власти.

Не случайно Л. Троцкий возмущался тем, что “наши революционные поэты почти сплошь возвращаются вспять к Пугачеву и Разину! Василий Каменский поэт Разина, а Есенин – Пугачева... Плохо и преступно то, что иначе они не умеют подойти к нынешней революции, растворяя ее тем самым в слепом мятеже, в стихийном восстании... Но ведь что же такое *наша* революция<sup>2</sup>, если не бешеное восстание против стихийного бессмысленного, против то есть мужицкого корня старой русской истории, против бесцельности ее (нетелеологичности)... во имя сознательного, целесообразного, волевого и динамического начала жизни” [50, с. 91–92].

Троцкий полагал, что “русский бунт” по своей сути направлен против той революции, одним из “самых выдающихся вождей” – по определению Ленина [31, с. 345] – которой он был и которую он считал уместным охарактеризовать как “бешеное (!) восстание” против этого самого беспредельного и (по ироническому определению Троцкого) “святого” русского бунта, – “восстание, преследующее цель “утверждения власти” [50, с. 92].

Но вместе с тем нельзя не видеть, что Троцкий и его сподвижники смогли оказаться у власти именно благодаря этому русскому бунту. Большевики ведь, в сущности, не захватили, не завоевали, но лишь подняли выпавшую из рук их предшественников власть. Во время Октябрьского переворота почти не было человеческих жертв, хотя вроде бы свершился “решительный бой”. Но затем жертвы стали исчисляться миллионами, ибо большевикам пришлось в полном смысле слова “бешено” бороться за удержание и упрочение власти.

Советская историография долгое время внедряла в русское сознание точку зрения, что народное бунтарство между Февралем и Октябрем было – борьбой за социализм-коммунизм против буржуазной власти, а мятежи после Октября – делом “кулаков” и других “буржуазных элементов”. Антисоветская – наоборот – выдвинула концепцию всенародной борьбы против социализма-коммунизма в послеоктябрьское время. Наиболее полно последняя разработана эмигрантским историком и демографом М. С. Бернштамом [7]. И та, и другая точки зрения едва ли верны. Здесь стоит процитировать суждение очень влиятельного и осведомленного послефевральского деятеля В. Станкевича<sup>3</sup>. В своих мемуарах, изданных в 1920 г. в Берлине, он писал,

<sup>1</sup> Смотреть: [43].

<sup>2</sup> То есть революция, которой руководит Троцкий. Курсив мой.

<sup>3</sup> Станкевич В. Б. (1884–1969) – юрист и журналист, офицер, ближайший соратник Керенского, комиссар Временного правительства (прим. публ.).

что после Февраля масса вообще никем не руководилась, жила по законам, не укладывающимся ни в одну идеологию или какую-то организацию: “Не политическая мысль, не революционный лозунг, не заговор и не бунт (Станкевич явно счел даже это слово слишком “узким” для обозначения того, что происходило. — В. К.), а стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть без остатка: и в городах, и в провинции, и полицейскую, и военную, и власть самоуправлений. Неизвестное, таинственное и иррациональное, корнящееся в скованном виде в народных глубинах, вдруг засверкало штыками, загремело выстрелами, загудело, заволновало серыми толпами на улицах” [45, с. 239].

Советская историография пыталась доказать, что это “стихийное движение” было по своей сути “классовым” и вскоре пошло-де за большевиками. М. С. Бернштам, напротив, настаивает на том, что после Октября народное движение было всецело направлено против социализма-коммунизма — то есть, подобно ортодоксальным советским историкам, предложил “классовое” или, во всяком случае, политическое толкование “русского бунта” — как антикоммунистического. Иван Бунин, непосредственно наблюдавший “русский бунт”, словно предвидя появление в будущем подобных сочинений, записал в своем дневнике 5 мая 1919 г.: “Мужики... на десятки верст разрушают железную дорогу. Плохо верю в их “идейность”. Вероятно, впоследствии это будет рассматриваться как “борьба народа с большевиками”. Но дело заключается... в охоте к разбойничьей, вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч” [8, с. 132].

Выше я определил кадетскую и меньшевистско-эсеровскую программы перестройки России как чисто утопические; ныне же множество авторов называют *реализованной утопией* СССР, странно не замечая, что слово “утопия” обозначает феномен, которого нет и не может быть на земле, а ведь СССР в течение нескольких десятилетий являл собой одну из великих держав мира!..

Действительно утопической, подобно кадетской и эсеро-меньшевистской, была *первоначальная* большевистская программа, основывавшаяся на том, что в близком будущем свершится мировая или хотя бы общеевропейская пролетарская революция; большевики в массе своей рассматривали себя как “передовой отряд” такой революции, который обретет прочное положение только после ее победы. И “отступление” в форме нэпа стало неизбежным после осознания утопичности победы мирового пролетариата.

Ко второй половине 1920-х гг. был утвержден курс на “социализм в одной стране”, а в середине 1930-х начался поворот к патриотизму (хотя еще не столь давно слово “патриот” означало *врага* революции). Об этих кардинальных изменениях политически-идеологического курса нынешние “либералы” говорят как о выражении личной воли Сталина. В действительности до 1934 года нет и намек на приверженность Сталина собственно русской (а не только революционной) теме. В докладе на XVI съезде партии он посвятил целый раздел разоблачению “уклона к великорусскому шовинизму” [44, с. 370–373]. А позднее, 5 февраля 1931 года, Сталин, в котором сегодня многие готовы видеть прирожденного патриота, на страницах газеты “Правда” публикует прямо-таки удивительное рассуждение: “История старой России состояла... в том, что ее непрерывно били... Били монгольские ханы. Били турецкие беи. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны” и т. д. Впрочем Иосиф Виссарионович в данном случае присоединился к господствующей фальсификации “истории старой России”. И, лишь осознав, что назревающая Великая Отечественная будет по существу не войной фашизма против большевизма, не войной классов, а национальной, “великий вождь и учитель всех народов” стал думать о “мобилизации” именно России, а не большевизма.

Кстати, тезис о построении социализма в одной стране первым выдвинул и обосновал вовсе не Сталин, а его будущий противник Бухарин [9; 10], и эта смена курса, как позднейшее “воскрешение” патриотизма, были порождены ходом самой истории — мучительным, трудным, о чем свидетельствуют трагические судьбы П. Флоренского, П. Васильева, Н. Клюева, О. Мандельштама, С. Клычкова, открыто называвшего вла-

стную верхушку “узурпатором русского народа”<sup>1</sup>, но неизбежным. Как писал М. С. Агурский, не боявшийся острых проблем, с первых же послереволюционных лет “на большевистскую партию оказывалось массивное давление господствующей национальной среды. Оно ощущалось внутри партии и вне, внутри страны и за ее пределами... Оно ощущалось во всех областях жизни: политической, экономической, культурной... Спротивление этому всеохватывающему давлению грозило потерей власти... надо было, не идя на существенные уступки, создать видимость<sup>2</sup> того, что режим удовлетворяет исконным национальным интересам русских” [2, с. 197].

Естественно, поддерживать такую “видимость” с каждым годом становилось сложнее и сложнее. И во второй половине 1930-х гг. большевики левацкого толка с полным основанием говорили об определенной реставрации в стране дореволюционных порядков и даже совершенной Сталиным контрреволюции<sup>3</sup>, которую в книге “Преданная революция” Троцкий конкретизировал такими фактами из жизни тогдашнего СССР: “...вчерашние классовые враги успешно ассимилируются советским обществом... Недавно же правительство приступило к отмене ограничений, связанных с социальным происхождением!” [51, с. 94, 95].

Сегодня мало кто знает, что “ограничения”, на которые сетовал Троцкий, были чрезвычайно значительными: например, в высшие учебные заведения принимались исключительно “представители пролетариата и беднейшего крестьянства”. Отказ от подобных “ограничений” возмущал Троцкого, хотя сам он вырос в весьма богатой семье. Резко – и с явными преувеличениями – отзывался Троцкий и о другом “новшестве” в жизни страны: “По размаху неравенства в оплате труда СССР не только догнал, но и далеко перегнал капиталистические страны!.. трактористы, комбайнеры и пр., т. е. уже заведомая аристократия, имеют собственных коров и свиней... государство оказалось вынуждено пойти на очень большие уступки собственническому и индивидуалистическим тенденциям деревни...” [51, с. 106–107, 109–110].

Но особое негодование Троцкого вызвал курс на возрождение семьи: “Революция сделала героическую попытку разрушить так называемый “семейный очаг”... Назад, к семейному очагу!.. Трудно измерить глазом размах отступления!.. Тупые и черствые предрассудки малокультурного мещанства возрождены под именем новой морали” [51, с. 121, 122].

“Когда жива еще была надежда сосредоточить воспитание новых поколений в руках государства, – продолжал Троцкий, – власть не только не заботилась о поддержании авторитета “старших”, в частности, отца с матерью, но, наоборот, стремилась как можно больше отделить детей от семьи... Ныне и в этой немаловажной области произошел крутой поворот: наряду с седьмой<sup>4</sup>, пятая заповедь<sup>5</sup> полностью восстановлена в правах... Забота об авторитете старших повела уже, впрочем, к изменению политики в отношении религии... штурм небес, как и штурм семьи, приостановлен...” [51, с. 127–129].

Интересно, что примерно так же, но с прямо противоположной оценкой определял происходившие в СССР изменения идейный противник Троцкого – Георгий Федотов:

“Это настоящая контрреволюция, проводимая сверху. Так как она не затрагивает основ ни политического, ни социального строя, то ее можно назвать бытовой контрреволюцией. Бытовой и вместе с тем духовной, идеологической. <...> Право беспартийно дышать и говорить, не клянясь Марксом, право юношей на любовь и девушек на семью, право родителей на детей и на приличную школу, право всех на “веселую жизнь”, на елку и

<sup>1</sup> Смотреть подробней об этом в: [28, с. 41, 343].

<sup>2</sup> Курсив мой.

<sup>3</sup> Так, один из руководящих работников ОГПУ–НКВД Александр Орлов, ставший в 1938 г. “невозвращенцем”, писал в своих мемуарах, что, начиная с 1934 г., “старые большевики” приходили к убеждению, что “Сталин изменил делу революции. С горечью следили эти люди за торжествующей реакцией, уничтожающей одно завоевание революции за другим” [35, 46–49].

<sup>4</sup> Седьмая заповедь – т. е. заповедь о грехе прелюбодеяния.

<sup>5</sup> Пятая заповедь – заповедь о почитании отца и матери.

на какой-то минимум обряда – старого обряда, украшавшего жизнь<sup>1</sup>, – означает для России восстание из мертвых” [57, с. 83–84].

И далее: “Взамен марксистского обществоведения восстанавливается история. В трактовке истории или литературы объявлена борьба экономическим схемам, сводившим на нет культурное своеобразие явлений. <...> Можно было бы спросить себя, почему, если марксизм в России приказал долго жить, не уберут его полинявших декораций. Почему на каждом шагу, изменяя ему и даже издеваясь над ним, ханжески бормочут старые формулы? Но всякая власть нуждается в известной идеологии” [51, с. 87, 90]. И удивительное по своей прозорливости предупреждение: “Отрекаться от своей собственной революционной генеалогии – было бы безрассудно” [51, с. 90].

Нельзя, однако, не задуматься о самом этом слове “контрреволюция”. В устах Троцкого оно имело что ни на есть “страшный”, обличительный смысл, тогда как Федотова оно ничуть не пугало. К сожалению, до сих пор в массовом сознании “контрреволюция” воспринимается скорее “по-троцкистски”, чем “по-федотовски”, хотя в истории нет ничего страшнее именно революции – глобальных катастроф, неотвратимо ведущих к бесчисленным жертвам и беспримерным разрушениям. Во всяком случае, число жертв российской “контрреволюции” 30-х гг. несопоставимо с результатами революции 1917 г. и даже 1929–1933 гг.: в 1934–1939 гг. погибло в 30 раз (!) меньше людей, чем в 1918–1922 гг.<sup>2</sup>.

Правда, здесь перед нами встает нелегкий и, так сказать, щекотливый вопрос о личной роли Сталина в так называемой “второй революции” – в трагедии коллективизации. Антисталинисты целиком возлагают вину на вождя, а сталинисты (число коих в последнее время заметно растет) либо стараются замолчать неприятную для них тему, либо выдвигают в качестве главных виновников трагедии других тогдашних деятелей. Но ясно, попытки “обелить” Сталина несостоятельны: даже если наиболее беспощадные акции того времени осуществлялись под непосредственным руководством других лиц, ответственность все же лежит на Сталине, ибо лица эти оказались на своих постах с его ведома и не без его воли.

Впрочем, в “Преданной революции” Троцкий, ставя вопрос, почему в партийной борьбе за власть победил Сталин, отвечал так: “. . . каждая революция до сих пор вызывала после себя реакцию и даже контрреволюцию, которая, правда, никогда не отбрасывала нацию назад, к исходному пункту. . . Аксиоматическое утверждение советской литературы, будто законы буржуазных революций “неприменимы” к пролетарской, лишено всякого научного содержания” [51, с. 76, 77]. То есть, и по Троцкому, суть дела заключалась не в реализации некой индивидуальной идеологии и политики вождя (напомню, подлинным автором коллективизации был все-таки не Сталин, а видный экономист, будущий академик и лауреат Ленинской премии Василий Сергеевич Немчинов), а в закономерном ходе истории после *любой революции* с ее атмосферой фанатической беспощадности, подозрительности и тотальной слежки друг за другом – вплоть до самоистребления.

Обычно в выражении “историю делают люди” видят отрицание фатализма, но, пожалуй, не менее и даже более существенно другое: историю делают люди, которые налицо в данный период.

Вместе с тем понятно и по-своему оправдано восприятие всего происходившего в 1930-х гг. под знаком имени Сталина – ведь порожденные объективно-историческим ходом вещей “повороты” так или иначе санкционировались генсеком. И есть прямой смысл проследить, как санкционированные им “повороты” отражали народное самосознание и – соответственно – представления о вожде в произведениях русской культуры, к примеру, в творчестве уже упоминавшегося здесь Осипа Мандельштама.

Известно, что Осип Эмильевич Мандельштам поистине благоговейно воспринимал русскую культуру и, шире, русское бытие. Еще в 1914 г. поэт, вслед за Чаадаевым, утверждал, что России присуща “нравственная свобода, свобода выбора” – “дар русской земли, лучший цветок, ею возвращенный”, *равноценный* “всеми, что создал Запад в области материальной

<sup>1</sup> В 1935 г. партийное руководство страны разрешило украшать новогодние – бывшие “рождественские” – елки.

<sup>2</sup> Более подробно об этом в: [27].

культуры”<sup>1</sup>. Притом в основе этой свободы и, соответственно, величия русской культуры лежит, по определению Мандельштама, “углубленное понимание народности как высшего расцвета личности” [33, т. II, с. 155–156].

После 1917 г. Мандельштаму казалось, что ценимая им превыше всего народная основа России не подвергнется жестокому давлению. Очевидно, именно поэтому он, в отличие от Бунина или Зинаиды Гиппиус, встретил Октябрьскую революцию если не восторженно, то достаточно спокойно. Поэт вступил в острейший конфликт с властью только во время коллективизации, которую воспринял как разрушение главнейших основ русского бытия, всеобщую космическую катастрофу, сокрушившую и народ, и природу, что нашло свое воплощение в ряде его стихотворений 1933 г., в том числе в знаменитом антисталинском памфлете “Мы живем, под собою не чуя страны...”, за который он поплатился ссылкой в Воронеж.

Но вот что знаменательно: поэт, написавший предельно резкие стихи о Сталине в 1933-м, через три с небольшим года создает о том же Сталине восторженную оду “Когда б я уголь взял для высшей похвалы...”.

Люди, пытающиеся представить Мандельштама ярким противником советской власти чуть ли ни с момента разгона Учредительного собрания, интерпретируют этот факт в общем-то трояко. “Ода” рассматривается ими в качестве: а) попытки, как известно, тщетной, спастись от новых репрессий; б) результата прискорбнейшего самообольщения поэта; в) псевдопапанигирика, в действительности якобы иронического.

Но тщательно работающий филолог М. Л. Гаспаров в обстоятельном исследовании “О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года”, проследившая движение поэта от “Стансов” 1935 г. (“Я не хочу среди юношей тепличных...”) до “Стансов” 1937 г. (“Необходимо сердцу биться...”), где, как и в “Оде”, воспет Сталин, со всей основательностью доказал: во-первых, что “ни приспособленчества, ни насилия над собой в этом движении нет” [15, с. 66]; во-вторых, теснейшую связь “Оды” “со всеми без исключения стихами, написанными во второй половине и феврале 1937 года, а через них – как с предшествующими и последующими циклами, так и со всем творчеством Мандельштама” [15, с. 111–112].

Словом, “приятие” Сталина органически выросло из творческого развития поэта. В “Стансах” 1935 г. он писал:

*... как в колхоз идет единоличник,  
Я в мир вхожу...*

Не столь давно, в ноябре 1933 г., поэт говорил о коллективизации как о вселенской катастрофе, а тут очевидно определенное примирение с “колхозной” Россией. В связи с этим следует сказать об одном не вполне точном суждении М. Л. Гаспарова. По его мнению, в процитированных выше строках поэт выразил “попытку “войти в мир”, “как в колхоз идет единоличник...” А если “мир”, “люди”... едины в преклонении перед Сталиным, – то слиться с ними и в этом” [15, с. 88].

Суждение исследователя, увы, можно понять в том смысле, что поэт изменил свое отношение к Сталину не благодаря тем изменениям в бытии страны, которые он видел и осознавал, а в результате бездумного присоединения к всеобщему культу или лукавства поэта. Но ведь Осип Мандельштам еще в 1933 г. безоговорочно выразил свое отношение к трагедии коллективизации и, соответственно, вождю. Кто-либо, вероятно, скажет, что Мандельштам крайне идеализировал увиденную им жизнь. Однако, в сравнении с началом 1930-х, жизнь деревни, как подтверждают действительные, а не выдуманные факты, бесспорно изменилась в лучшую сторону. И, конечно же, поворот в отношении поэта к Сталину (пусть и “неадекватный”) был порожден не самодовлеющим стремлением “слиться” (по словам Гаспарова) с многочисленными воспевателями вождя (их было немало и в 1933 г. – в том числе и среди близких Мандельштаму людей: Б. Пастернак, Ю. Тынянов, К. Чуковский,

<sup>1</sup> Подчеркну: поэт совершенно верно говорит не о “превосходстве” России над Западом, а о равноценности России и Запада.

И. Эренбург... Но Мандельштам тогда противостоял им), а поворотом в самом бытии страны, в которой созидание шло на смену разрушению.

Впрочем, М. Л. Гаспаров в другом месте своей книги дает – в сопоставлении с антисталинистским памфлетом 1933 г. – совершенно верное определение исходного смысла мандельштамовской “Оды”:

“В середине “Оды”... соприкасаются... прошлое и будущее – в словах “Он (Сталин. – **В. К.**) свесился с трибуны, как с горы. В бугры голов. Должник сильнее иска”. Площадь, форум с трибуной... это не только площадь демонстраций, но и площадь суда. Иск Сталину предъявляет прошлое за все то зло, что было в революции и после нее (разумеется, включая коллективизацию. – **В. К.**); Сталин пересилил это светлым настоящим и будущим... Решение на этом суде выносит народ... В памятной эпитаграмме против Сталина поэт выступал обвинителем от прошлого – по народному приговору он не прав...” [15, с. 94] – надо думать, “не прав” именно теперь, в 1937-м, когда безмерно трагическое время коллективизации уже стало “прошлым”.

К сожалению, нынешние “либералы” стремятся глубже понять ход истории в сталинские времена чаще всего клеймят как попытки реабилитации вождя. Лишь немногие люди этого круга способны подняться над заведомо примитивными представлениями, исходящими из попросту вывернутого наизнанку “сталинизма”. Так, поэт Давид Самойлов написал о “повороте”, который, как правило, толкуется в качестве чисто личного “злодейства” вождя:

“Надо быть полным антидетерминистом<sup>1</sup>, чтобы поверить, что укрепление власти Сталина было единственной исторической целью 37-го года, что он один мощью своего честолюбия, тщеславия, жестокости мог поворачивать русскую историю, куда хотел, и *единолично* сотворить чудовищный феномен 37-го года. Если весь 37-й год произошел ради Сталина, то нет бога, нет идеального начала истории. Или, вернее, бог – это Сталин, ибо кто еще достигал возможности самолично управлять историей! Какие ж предначертания *высшей воли* диким образом выполнил Сталин в 1937-м году? <...> После яковинской расправы с дворянством, буржуазией, интеллигенцией, после кровавой революции сверху (был страх, но не было жалости), произошедшей в 1930–1932 годах в русской деревне, террор начисто скошил правящий слой 20–30-х годов. <...> Тех, кто вершил самосуд, постиг самосуд” [40, с. 344, 443].

Существенно, что даже либеральный идеолог увидел в драматических событиях 1937 г. смысл возмездия: вот, мол, те люди, которых “скашивают” в 1937-м, ранее, начиная с 1917-го, сами беспощадно “скашивали” других людей, и поэтому получили столь беспощадное наказание.

Самойловское толкование событий 1937 г. подразумевает, что в истории действует неотвратимый закон, благодаря которому насильники и палачи сами, в конце концов, подвергаются репрессиям и казням. Вообще-то вера в реальность такого закона существует. Но проблема, если вдуматься, гораздо сложнее. Ведь в 1937-м погибли или оказались в заключении многие и многие люди, которых ни в коей мере нельзя отнести к категории “палачей”, и уж только это ставит под сомнение “закономерность”, каковую вроде бы можно проследить в казнях вчерашних палачей, – не говоря уж о том, что далеко не всех палачей постигло заслуженное возмездие.

Словом, представление, согласно которому люди, принимавшие участие в массовом терроре периода гражданской войны и затем коллективизации, именно поэтому или, выражаясь попросту, именно “за это” были подвергнуты репрессиям, едва ли может быть обосновано “практически”, реально.

Но есть и другой аспект проблемы: ведь именно те люди, против которых прежде всего и главным образом были направлены репрессии 1937 г., создали в стране “политический климат”, закономерно породивший беспощадный террор. Более того, как свидетельствуют многочисленные факты,

---

<sup>1</sup> То есть полностью отрицать объективный ход истории. – **В. К.** В цитате курсив мой.

именно этого типа люди – в основном партийцы, комсомольцы – всячески раздували пламя террора, а его противниками были люди, как правило, не причастные к власти.

Сегодня многие повторяют слова Анны Ахматовой, произнесенные вскоре после смерти Сталина: “Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили”<sup>1</sup>.

Анне Андреевне принадлежит немало метких суждений, но приведенное явно упрощает реальность 1937-го и позднейших годов, когда “две России” сплошь и рядом совмещались в одних и тех же людях. Вот достаточно типичный пример: в 1960 гг. немалой популярностью пользовались сочинения ныне забытого Бориса Дьякова о пережитой им судьбе заключенного, но позднее – по архивным документам – выяснилось, что до того, как его “посадили”, будущий литератор Дьяков сам “посадил” десятки людей. . .

Думается, в истолковании темы “возмездия” важнее осознать другое: к середине 1930 гг. жизнь страны в целом начала постепенно нормализоваться, и деятели, исповедующие идеологию классового “интернационализма”, нацеленные на раздувание “мирового пожара”, готовые ради него пожертвовать собственным народом, стали просто ненужными и даже “вредными”: они явно не годились, как писал отнюдь не питающий большой любви к нашей родине американский политолог Роберт Такер, – для построения “великого и могучего советского русского государства” [46, с. 494] и тем более не годились для ведения назревающей великой войны, получившей имя “Отечественной” – войны народной, а не классовой. Поэтому массовая замена “правлящего слоя” (сверху донизу) в 1937 г. была не только закономерна, но и необходима (как, например, позднее: в 1956–1960-х или 1990–1993 гг.). Страшное “своеобразие” того времени состояло в том, что людей отправляли не на пенсию, а в лагеря или прямо в могилу. И в связи с этим мне бы хотелось в “Памятных записках” Д. Самойлова выделить следующее. Их автор полагает, что драматические события 1937-го предначертала “высшая воля” – то есть как бы воля Бога. Но эту “волю” едва ли уместно осознать в христианском духе. Речь может идти о языческих или ветхозаветных богах. И именно в этом моменте Д. Самойлов смыкается с теми нынешними прозападнически настроенными “либералами”, которые проклинают Сталина не столько за его решения как таковые, сколько за то, что он их, по словам Самойлова, осуществлял “дикими”, “чудовищными” методами. Но этим Сталин вряд ли принципиально отличался от своих предшественников – Троцкого, Каменева, Зиновьева, Бухарина и других “выдающихся вождей” русской революции<sup>2</sup>. Увы, насилие, террор, готовность пойти на любые жертвы ради “великой цели”, способность ради нее оправдать любые преступления – порождение не козней каких-либо “злодеев”, а всей атмосферы беспощадности, образующейся в условиях революционного катаклизма.

Но Самойлов, безусловно, прав, говоря о том, что движение истории определяется не замыслами или волеизъявлениями каких-либо лиц (пусть и обладающих громадной властью), а, скажу от себя, сложнейшим и противоречивым воздействием различных общественных сил. В действительности вожди, в конечном счете, только “реагируют” – причем обычно с определенным запозданием – на объективно сложившуюся в стране – и в мире в целом – ситуацию. И несомненно то, что в самом ходе истории есть “высшая воля”, смысл которой, правда, трудно выявить, но который значительней всех наших рассуждений об истории. Никто до 1941 г. не мог ясно предвидеть, что страна будет вынуждена вести колоссальную – геополитическую – войну за само свое бытие на планете с мощнейшей военной машиной, вобравшей в себя энергию почти всей Европы. Но вполне уместно сказать, что сама история страны (во всей ее полноте) это предвидела, – иначе и не было бы великой Победы 1945 г.

<sup>1</sup> Цитируется по: [63, с. 20].

<sup>2</sup> Когда 25 августа 1936 г. были казнены Зиновьев и Каменев, Бухарин написал об этих людях, с которыми теснейшим образом была связана вся его жизнь: “Что расстреляли собак – страшно рад” [11, с. 71].

В свете вышеизложенного обратимся к поставленной в самом начале этого сочинения проблеме деления идеологов на “патриотов” и “либералов”. Как уже было сказано, оно только запутывает и затемняет общественное сознание: в частности, “патриоты” преподносятся в СМИ (средствах массовой информации) как консерваторы или “реакционеры”, стремящиеся восстановить ушедший в прошлое СССР, либо даже Российскую империю, а “либералы” – как “прогрессисты”, которые, в конечном счете, стремятся повести страну по пути, намеченному западниками Февраля 1917 г., но, мол, из-за тогдашних неблагоприятных обстоятельств быстро прерванному.

Нельзя не сказать, что идеологи, сопоставляющие Февраль 1917 г. с переворотом рубежа 1991–1992 гг., с поистине странной наивностью закрывают глаза на коренное различие: Февраль вызвал долгую цепь бунтов и восстаний и полномасштабную гражданскую войну, а в 1990-х ничего подобного не было (за исключением глубоко специфичной ситуации в Чечне). Естественные объяснения этого способного удивить и вызвать недоумение различия заключаются в сохранении *основ* прежней экономики, а также и основ политического строя. Ярчайшее выражение последнего – разгон российского парламента в октябре 1993-го и последующее полное лишение представительной власти *реальных* полномочий, возвратившее ее, по существу, к тому положению, в каковом находился Верховный Совет СССР. То есть действительного переворота – в отличие от 1917-го – не произошло, и именно поэтому не было ни мощных бунтов, ни гражданской войны.

Да, Великая Отечественная война закономерно заставила воскресить многое из прошлого России. Но очень многое, и имеющее первостепенную ценность, осталось или полностью забытым, или по меньшей мере тенденциозно искаженным. Так, в творениях русской классической литературы постоянно пытались усматривать прежде всего, и главным образом, “беспощадную критику” дореволюционной России, – невзирая на то, что едва ли в какой другой литературе XIX века имеется такое богатство истинно прекрасных образов людей и самого бытия.

Но гораздо существенней другое. Революция целиком и полностью отвергла отечественную философскую мысль (о религиозной – уж и говорить не приходится), – исключая тех ее представителей, которые подвергали российское бытие критике и так или иначе “готовили” революцию (декабристы, Белинский, Чернышевский и другие). Наиболее глубокие мыслители, раскрывавшие истинный смысл отечественной истории и культуры – Иван Киреевский, Аполлон Григорьев, Николай Данилевский, Константин Леонтьев, Николай Страхов, Владимир Соловьев и многие другие, – долгое время находились в полном забвении, а люди, развивавшие их традиции, были либо погублены (Флоренский, Чайнов, Кондратьев), либо высланы из страны, либо сами эмигрировали (Карсавин, Бердяев, Франк, С. Булгаков, П. Сорокин), либо подвергались гонениям и почти не имели возможности публиковать свои сочинения (М. Бахтин, А. Лосев).

И это, конечно, только одна сторона дела. Революция разрушила то, без чего вообще невозможен подлинный патриотизм. Она отвергла не только самосознание России, но и то ее бытие, которым и было порождено это самосознание. В хрущевское время с его “левизной” разрыв с дореволюционным прошлым только усилился. Если в годы Второй мировой войны и некоторое время после нее предпринимались те или иные попытки для преодоления разрыва с многовековой историей страны, то образование – в результате Победы – “соцлагеря” востребовало отброшенную Сталиным во второй половине 1930-х гг. идеологию классового “интернационализма”. Страна жила так, будто она в самом деле “родом из Октября”, а ее молодежь – “дети XX съезда”. И это вело – и привело – к самому тяжкому итогу. Обещанный “земной рай” – коммунизм – отодвигался в неопределенное будущее, а разочарование в том, чем жила и во что верили, постепенно нарастало и нарастало. В результате масса людей поверила крикливым “идеологам”, утверждавшим, что Россия, дескать, не принадлежит к странам “нормальным”, “цивилизованным”, “культурным” и т. п., и началась волна поистине патологического низкопоклонства перед Западом, у которого мы, мол, должны учиться с нуля



жить и мыслить<sup>1</sup>. Короче, то, что происходит сейчас, назревало давно, хотя и подспудно. Тем не менее необходимо со всей определенностью сказать: 75 лет – жизнь трех поколений – невозможно выбросить из истории, объявив их “черной дырой”. И те, кто усматривает цель в возврате в дореволюционное прошлое, не более правы, чем те, кто считает своего рода началом истории 1917 г. Истинная цель заключается в том, чтобы срастить времена.

Правда, в нынешней России вроде бы строят капитализм. Однако тот “капитализм”, который процветает сейчас в стране (даже многие из поборников рыночной демократии определяют его как в огромной степени криминальный, паразитический, то есть занятый перераспределением и проживанием накопленных при советском строе запасов), – это вовсе не капитализм в западном значении слова, а легализованная теневая экономика, существовавшая еще и при Сталине и тем более при Брежневе, когда было множество уголовных дел о фактически находившихся в частной собственности предприятиях с так называемой “левой продукцией” – хотя, разумеется, масштабы подобного рода явлений были тогда неизмеримо менее значительными, чем теперь.

Теневая экономика в тех или иных формах существует во всем мире, но в развитых странах она отнюдь не принадлежит к рыночной демократии. И есть все основания утверждать, что социалистическая экономика, так или иначе соблюдавшая общепринятые правовые нормы, была все-таки ближе к капиталистической, нежели очень значительная часть нынешней российской экономики, “деятелям” которой уже не раз запрещали въезд в страны Запада или даже арестовывали в этих странах.

Правда, в нынешней РФ в той или иной степени наличествует свобода слова, но слово это никогда не переходит в дело и к тому же вызывает серьезный интерес у весьма небольшой части населения страны – у идеологически активных “патриотов” и “либералов”.

Что касается последних, их стремление делать страну по западному образцу после семидесятилетней эпохи социализма ныне более утопично, чем в Феврале 1917 г. В высшей степени показательно то, что оказавшиеся у власти “либералы”, имея крайне поверхностные представления о “рыночной демократии”, постоянно прибегают к поучениям и рецептам западных “советников”, причем особенно показательно, что часть самих этих советников уже убедилась в тщетности попыток переделать Россию в подобие Запада (так, один из главных советников, Дж. Сакс из США, еще в 1998 г. справедливо констатировал, что у реформируемой России при ближайшем рассмотрении “оказалась другая анатомия” – другая, понятно, чем в странах Запада, и, следовательно, сделать ее подобием последнего никак не возможно).

Словом, деятели, которые много лет находятся у власти и уверяют, что они создадут в России рыночную демократию западного типа, ни в коей мере не создали (да и не могли создать) нечто подобное, и их нельзя именовать “демократами” в истинном значении этого слова, хотя среди них наверняка есть люди, искренне любящие свою родину.

Говоря об этом, я отнюдь не считаю, что все идеологи, которых причисляют (и которые сами себя причисляют) к “патриотам”, исповедуют “правильные” и перспективные взгляды. Во-первых, действительное восстановление СССР и, тем более, Российской империи, о чем мечтают многие из них, – это опять-таки заведомые утопии, – в частности, потому, что идеологические основы, во многом определявшие поведение людей в России до конца XIX в., а затем (в 1920–1980-х гг.) в СССР, воскресить невозможно. Во-вторых, деятельность “патриотов” крайне ослабляется их расколом на “советских” и “имперских”. Последние, между прочим, уподобляются тем большевикам, которые до середины 1930-х гг. считали неприемлемой и проклятой дореволюционную Россию. Единственно перспективный путь – опора на всю историю страны, несмотря на все противоречия, и рождение на этой основе новой патриотической идеологии.

---

<sup>1</sup> Дело вовсе не в том, что предлагается нечто “унизительное”; по-настоящему жить и мыслить можно только на почве собственной истории и культуры. Любое заимствование осуществимо и плодотворно, когда, вращаясь в бытие и сознание заимствующего народа, обретает существенно необходимый (а значит, иной) для этого народа смысл.

Ага! – скажет читатель. – Ты все же за “патриотов”, хотя вроде бы продемонстрировал “беспристрастную” оценку славянофилов и западников. Но истинный патриотизм (тот, который исповедовали обладавшие высшим духовным уровнем люди России) основан на утверждении не превосходства своей страны над другими (в частности, странами Запада), а на признании *равноценности* – пусть хотя бы “потенциальной”, долженствующей обрести свое воплощение в будущем времени – цивилизаций и культур.

Утверждение превосходства – это не патриотизм, а национализм, шовинизм, идея своей избранности и т. д., – но ничего подобного нет ни у Пушкина, ни у Гоголя, Достоевского и Толстого и других корифеев нашей великой литературы и культуры, которые в то же время – чего никто не сможет опровергнуть – являют собой подлинных патриотов.

А тот, кто считает свою страну второсортной (скажем, в сравнении с Западом), сам обречен на второсортность. Это, разумеется, вовсе не означает, что патриотизм сам по себе возвышает человека, но без патриотизма нельзя достичь высшего духовного уровня.

И последнее – но далеко не последнее по важности, – о чем я считаю необходимым сказать. Истинный патриотизм – это любовь и преданность своей стране – и в целостности ее истории и в ее современном состоянии. Между тем ныне к патриотам причисляют людей, которым дорога только дореволюционная, монархически-православная Россия (Россию после 1917 г. они так или иначе отрицают), а с другой стороны – людей, которые дорожат только советско-коммунистической Россией.

Если вдуматься, станет ясно, что все эти люди являются патриотами не России, а того или другого общественного строя, и в этом – еще одна причина их несостоятельности как подлинных патриотов.

Наконец, многие так называемые патриоты полностью отвергают и даже проклинают сегодняшнюю Россию и ее терпящий свое положение народ. Напомню в связи с этим слова, написанные за несколько лет до 1917 г. одним из гениальных русских мыслителей – Василием Розановым: “Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно тогда, когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно когда наша “мать” пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, – мы не должны отходить от нее.... Но и это еще не последнее: когда она наконец умрет и... будет являть одни кости, тот будет “русский”, кто будет плакать около этого остова, никому не нужного и всеми плюнутого” [39, с. 409].

Уместно сказать, что Россия являла собой только “остов” и после монгольского нашествия XIII в., и в Смуту начала XVII века, и после Февраля 1917 г. Но каждый раз находились истинные патриоты – и они, конечно, не только “плакали”, – хотя и создавали такие сочинения, как “Слово о гибели Русской земли”...

Впрочем, сегодня многие – и в том числе вполне серьезные – люди полагают, что в третьем тысячелетии Россия будет только деградировать. Как человек, если очень мягко выразиться, далеко не молодой и не склонный к розовому оптимизму, я не могу заявить со стопроцентной уверенностью, что Россия и на этот раз воскреснет. Но, исходя из того, что ее воскрешения совершались неоднократно, столь же – или даже еще более – неуместно впадать и в черный пессимизм.

Да, история России – откровенно трагедийна и катастрофична, но единственно достойно воспринимать ее так, как завещал нам в конце своей жизни Пушкин: “...ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал...” [37, с. 875].

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Айтматов Ч. Т. Буранный полустанок. М., 1980.
2. Агурский М. С. Идеология национал-большевизма. Paris, 1980.
3. Бахтин М. М. О методологии гуманитарных наук // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
4. Бахтин М. М. Ответ на вопросы редакции “Нового мира” // Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986.
5. Бахтин М. М. 1961. Заметки // Собрание сочинений в семи томах. М., 1996. Т. 5.

6. Бердяев Н. А. Душа России // Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1990.
7. Бернштам М. С. Стороны в гражданской войне 1917–1922 гг. М., 1992.
8. Бунин И. А. Окаянные дни. М., 1990.
9. Бухарин Н. И. Избранные произведения. Путь к социализму. Новосибирск, 1990.
10. Валентинов Н. В. Наследники Ленина, М., 1991.
11. Военно-исторический журнал, 1989, № 2.
12. Вулф Вирджиния. Русская точка зрения // Писатели Англии о литературе XIX–XX вв. М., 1981.
13. Газета “Северная коммуна”, Петроград, 1918, 17 сентября.
14. Гайдар Е. Т. Государство и эволюция. М., 1995.
15. Гаспаров М. Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. М., 1996.
16. Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Сочинения в девяти томах. М., 1956. Т. 3.
17. Герцен А. И. Московским друзьям // Сочинения в девяти томах. М., 1958. Т. 9.
18. Гоголь Н. В. Женитьба // Художественные произведения в пяти томах. М., 1961. Т. 4.
19. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Собрание сочинений в десяти томах. М., 1957. Т. 5.
20. Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989.
21. Думова Н. Г. Кадетская партия в период Первой мировой войны и Февральская революция. М., 1988.
22. Золотоносов М. “Мастер и Маргарита” как путеводитель по субкультуре русского антисемитизма (СРА). СПб., 1995.
23. Иллерицкая Е. В. Аграрный вопрос: провал аграрных программ и политики непролетарских партий в России. М., 1981.
24. Карлейль Томас. Французская революция. История. М., 1991.
25. Киреевский И. В. В ответ А. С. Хомякову // Избранные статьи. М., 1984.
26. Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России // Избранные статьи. М., 1984.
27. Кожин В. В. Россия. Век XX-й. 1901–1939. Опыт беспристрастного исследования. М., 1999.
28. Куняев С. Ю., Куняев С. С. Растерзанные тени. М., 1995.
29. Ленин В. И. Пророческие слова // Полное собрание сочинений. М., 1974. Т. 36.
30. Ленин В. И. Новая экономическая политика и задачи политпросветов // Полное собрание сочинений. М., 1974. Т. 44.
31. Ленин В. И. Письмо съезду // Полное собрание сочинений. М., 1975. Т. 45.
32. Леонтьев К. Н. Избранное. М., 1993.
33. Мандельштам О. Э. Сочинения в двух томах. М., 1990.
34. Мы и планета. М., 1969.
35. Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. Нью-Йорк–Иерусалим–Париж, 1983.
36. Пушкин А. С. Капитанская дочка // Полное собрание сочинений в десяти томах. М., 1964. Т. 6.
37. Пушкин А. С. П. Я. Чаадаеву // Полное собрание сочинений в десяти томах. М., 1966. Т. 10.
38. Rancour-Laferriere D. The Slave Soul of Russia. N. Y. and L., 1995.
39. Розанов В. В. Опавшие листья (1-ый короб) // Розанов В. В. Сумерки просвещения. М., 1990.
40. Самойлов Д. С. Памятные записки. М., 1995.
41. Семенов Ю. Н. Социальная философия А. Тойнби. М., 1980.
42. Сергей Радонежский. М., 1991.
43. Спирин Л. М. Классы и партии в гражданской войне в России (1917–1922 гг.). М., 1968.
44. Сталин И. В. Сочинения. М., 1951. Т. 12.
45. Станкевич В. Б. Революция // Страна гибнет сегодня: воспоминания о Февральской революции 1917 года. М., 1991.
46. Такер Роберт. Сталин у власти. История и личность. 1928–1941. М., 1997.
47. Толстой Л. Н. Война и мир // Собрание сочинений в двенадцати томах. М., 1958. Т. 7.

48. Толстой Л. Н. Живой труп // Собрание сочинений в двенадцати томах. М., 1959. Т. 12.
49. Троцкий Л. Д. К истории русской революции. М., 1990.
50. Троцкий Л. Д. Литература и революция. М., 1991.
51. Троцкий Л. Д. Преданная революция. М., 1991.
52. Успенский Г. И. Праздник Пушкина // Ф. М. Достоевский в русской критике. М., 1956.
53. Уэллс Герберт. Россия во мгле. М., 1958.
54. Фадеев А. А. Разгром. Против течения. Разлив. М.—Л., 1928.
55. Федотов Г. П. Империя и свобода. Н. У., 1989.
56. Федотов Г. П. Лицо России // Вопросы философии, 1990. № 8.
57. Федотов Г. П. Судьба и грехи России. СПб., 1992. Т. 2.
58. Хаксли Олдос. Прекрасный новый мир. М., 1985.
59. Хейфиц М. Наши общие уроки // Двадцать два, Иерусалим, 1980. Сентябрь, № 14.
60. Чаадаев П. Я. Отрывки и афоризмы // Статьи и письма. М., 1989.
61. Чаадаев П. Я. 1851 // Сочинения. М., 1989.
62. Шафаревич И. Р. Социализм как явление мировой истории // Сочинения в трех томах. М., 1994. Т. 1.
63. Шенталинский В. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. М., 1995.
64. Энциклопедия “Гражданская война и военная интервенция в СССР”. М., 1983.

**Публикация Е. В. Ермиловой и А. Ю. Большаковой**